

Александр Марков

**КИРОВ И ДРАУЛЕ.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ТРАГЕДИЯ**

Пролог

Нет больше человеческих исполинов и гениев. Перевелись титаны и демоны. Наше время – порожнее. Все покрыто тленом комфорта и техногенного уюта, где разлагается в сытости и лени человек обыкновенный, наблюдая за житиями великих и необыкновенных предшественников на теле/киноэкранах, равно как и за приключениями марсиан, пауков, годзилл, орков, хоббитов, бетменов, поттеров... - они все для него в равной степени нереальны. Как сказочные персонажи. Шекспировские живые страсти сменились компьютерными чарами виртуальных походов красочных чудищ, которые вызывают больше волнений и состраданий, нежели соседская беда за стенкой.

Нынешние бледные подобия былых Героев, способные вызвать массовую экзальтацию, поклонение, слюни, восторг и подражание – это так называемые звезды, лепимые, как поделки, масс-культурой и попсовой культурой, тиражируемые масс-медиа и навязываемые тупеющему обществу масс-манипуляциями. И чем пошлее, агрессивнее, примитивнее, удручающе сия якобы звезда кажется, тем кучнее вокруг нее пресмыкающихся двуногих. Женоликие певцы, лицедеи, актеры и советницы - это геройчики нашего времени. Геи и лесби, победными парадами шествующие по градам и весям мира, – это олицетворение политкорректности и упадка цивилизации – самое востребованное шоу для сознания поголовного плебса, даже если в нем кто-то считает себя аристократом. Это – агония, которую еще называют расцветом нашей эпохи. Эпохи, которая ничего не создала вечного и великого; ах да, кроме – птичьего гриппа, СПИДа и массового психоза а ля Бин Ладен.

В предыдущих эпохах были свои Светила, Грешники и Монстры. Каждый срез каждого века каждой эпохи оставлял Моцарта, Баха, Пикассо, Достоевского, Цезаря, Галилея, Петрарку, Лютера, Микеланджело, Колумба, Гагарина... У них не было перед глазами телеэкрана, они постигали осколки истины, разбиваясь в ней созвездиями подвигов, они творили...

В каждой предыдущей эпохе были свои савонаролы, борджиа, пиночеты, сталины, гитлеры, генрихи, бруты, мюнцеры, аттилы, валтасары, дракулы... У них не было блокбастерского киноопыта крови и зрелищ, они постигали это неистовостью своего трагического демонизма.

Ныне...

Нет Героя. Нет Героев!

Нет Демонов!

Перевелись.

Есть жевательная резинка повседневности, по недоразумению называемая жизнью. С модным американским прагматизмом мы низводим себя до существования.

Жаль.

Жаль, что когда человечество тихо отомрет, как повитуха, пережившая рожениц, и на планете наступит царство личинок или новых динозавров, они

не будут разуместь людскую грамоту и не познают наш печальный опыт саморазложения, и потому будут вымирать десятками тысячелетий.

Нам хватило три. Нам хватит три.

Остается окунаться в прошлое и отыскивать в нем жизнетворное и жизнеутверждающее начала, которые путем великих страданий и преодолений, невероятных тягот и отречений, поразительных свершений и дерзаний творили в двуногом Личность с вытекающими – достоинством, гордостью, храбростью, жестокостью.

Светлые и черные личности. Как плюс и минус – неразделимы в единстве. Беспремерная борьба добра и зла. Чудовищные и чудные страсти. С нашими мелкими страстишками нам того не понять, даже при всем усердии голливудских сценаристов и их российских подражателей.

Почему сладкие сытые эры не дают нам героев? Почему ненастные смутные времена полны Созидателей? При цензуре появляются нетленные книги, при свободе слова – примитивный бред. При Сталине – Шолохов и Булгаков, при Хрущеве – Пастернак, при Брежневе – Солженицын. При Ельцине, Путине – кто? Травили, гнали, морили – а они творили, голодные, оплеванные и озаренные. Ныне свобода – и, где Писатели?

Читаем Толкина, стоим в очереди за очередным Поттером. Сие и есть наша духовная пища (и далеко еще не худшая, в сравнении с мелодраматически-криминальной литжвачкой раскрученных отечественных див) востребованная нашей духовной потребностью. На большее – то есть, на понимание, куда там до глубокого проникновения в Поэтику Аристотеля или в Войну и мир Толстого – наши мозги не способны. Атрофируются информатизацией, уютом, прагматизмом – успеть все и везде, чтобы пожить. Пожить – в современном толковании этого глагола означает – пожрать, нахапать, потрахаться. Слово любовь прочно заменено американским аналогом – секс.

Какие времена, такие и персонажи. Достойные друг друга. И мы ощущаем себя причастными к великим деяниям, трагедиям, приключениям прошлого лишь сидя с поп-корном перед экраном. На том наша сопричастность с Великими и кончается.

Да! Чтобы как-нибудь приравнять Исполинов ушедших эпох к нашим понятиям и менталитету, стараемся подладить под себя. Потому и киношный Александр Великий – сначала почти гей и плакса, потом уже – стратег. Сталин – сначала пьяница и кретин, потом уже тиран.

В поисках знатных героев дошли до истинных сынов и дочерей нашего времени – бандитов. Сонька Золотая Ручка, Ленька Пантелеев – их киножития выливаются лапшой на уши доверчивому народу как материал для сведения или как инструкция для подражания. Понятно, что дело не в скудоумии, а в том же прагматизме – на вонючее рыба клюет быстрее. А рыбакам до лампочки на что клюет, лишь бы клевала.

Мы достигли пика развития. С вершины, как говорил один писатель, все дороги ведут вниз. И мы не спускаемся, но скатываемся. Личинки и динозавры будущего – пора просыпаться, ваше время не за горами. Даже если род людской и угробит вместе с собой заодно и планету, не поделив конфессионально небеса.

Демонические времена порождали демонические страсти. Трагедии этих страстей не дают покоя до сих пор тем, кто умеет мыслить и переживать. И за неимением великих сюжетов нынешних времен – обращаемся к тому наследию, вызывающему дрожь и преклонение, любовь и ненависть.

Киров был одним из создателей демонической системы, ее апологетом и ее жертвой. Это был исполин, Герой и Демон. И он был обречен своей демонической эпохой на трагедию. Великую трагедию.

Меня интересовал Киров как человек, а не как политик. Меня не интересовали, подобно модным тенденциям, следы спермы и грязное белье в его жизни и смерти.

Я его увидел таким, каким увидел.

События весны 1917 года, связанные с переездом В.И. Ленина из Швейцарии в Петроград через враждующую с Россией Германией, стали основой второго романа. Здесь иные страсти, одержимость вождя большевиков страстью исполинской революции как основой захвата власти, стала для него выше всех иных страстей, ради чего он был готов на все – на риск, страх, унижение, отчаяние. Все это и вошло в роман. И здесь я увидел Ленина таким, каким увидел.

Автор выражает благодарность кинопродюсеру Алексею Звереву, который предложил идею художественного анализа последних великих страстей великих вождей советского прошлого века – любви между Сергеем Кировым и Мильдой Драуле, а также идею вагона Ленина.

Часть 1

Глава 1

Зима недавно наступившего 1934 года выдалась на редкость лютой. Снега Бог, видать, пожалел, - обглоданные осенними дождями голые поля матово тускнели, прикрытые кое-где белой снежной пудрой, точно нищая девка на паперти в драном сарафане. Сизое продрогшее небо утесами полых туч застыло над съезжившимися крышами домов. А вот морозцом Господь не поспешил. Одиноким гулким шагом смельчака, отважившегося по голодухе пошвырять по лесу, отдавался надсадным скрипом, точно выворачивало рядом дерево с корнями. Отощавших кудлатых собак, и тех позагоняли в сени, где они лежали среди чахлах сонных курей, - да и что сторожить-то после неурожайного предыдущего года. Что во дворах уцелевших единоличников, что во дворах загуртованных колхозников – шаром покати. Кулацкие дома, те, что не заняты властью теперешней да не растасканы – тарашатся пустыми окнами на улицы, боязно. А о тех, кто там жил допреж, вспоминать еще боязнее.

Даже привычные к холодам старики, глядя на ссохшийся от стужи лед на заводах Ладоги, Селигера, Ильменя угрюмо пророчили сквозь намотанные под самые глаза шерстяные платки – не к добру разгуливается год ноне...

И никто не слышал их пророчеств, даже они сами, похоронившие уши под треухами и шапками.

В городах было не лучше. Стыли они, как разворошенные гнезда, нещадно дымя трубами в небо, словно призывая кого-то, чтобы послабил этакую мороку.

Иосиф Сталин, вождь правящего в стране пролетариата, разменявший несколько лет назад шестой десяток, но выглядящий куда старше из-за постоянного переутомления, стоял в своем кабинете, сутулясь перед радиоприемником.

Передавали отчет о только что закончившемся 18-м съезде ВКП (б) – съезде его партии, ради победоносного шествия которой он не пожалеет ни себя, ни других. Диктор словно чувствовал, что его словам внимает самый главный слушатель и бодро чеканил железные фразы. Сталин равнодушно относился к похвалам в свой адрес, отмечая лишь некие новые метафоры, если те появлялись. Кормчий, вождь, отец, продолжатель, великий... - все было уже затасканно, и выглядело неотрывным от его фамилии.

Он понимал, что не запретить людям восторгаться им, Сталиным, что это идет от переполнявших души людей восторга, да и было чем восторгаться – об этом прямо сказано на съезде. Ну-ка, всего за тринадцать лет после страшной Гражданской поднять этакую махину, индустриализовать и коллективизировать ее нещадно и величественно, повторяя Петра Великого вытащить из лужи и грязи разоренную страну в процветающую Державу. Поэтому признание, любовь и доверие к себе

Иосиф Джугашвили всецело относил к верности своего правления, как самой партией, так и народами. Этот факт крепко пустил корни в его сознании, убеждая в непогрешимости своих слов и поступков.

Взять хотя бы вытянувшегося в струнку и чуть ли не со слезами в глазах глядящего на него Ежова. Преданный член партии, грамотный и ценный работник, не дурак, но как смотрит, шельмец – прикажи, бросится из окна, не раздумывая... Да, Ежов, Ежов...

Сам Ежов, щуплый и малорослый мужчина, с умными глазами, странно выделявшимся под недоразвитым плоским лбом, не шевелясь, ел горячим собачьим взором вождя, испытывая одновременно ужас и наслаждение, от возможности оказаться возле Самого, возле Сущего, выше и значимее кого он не знал ни на земле, ни на небе. Это чувство он испытывал каждый раз, когда оказывался вызванным к Сталину и подобно мазохисту обрекал себя на заклятие, на уничтожение, на что угодно, лишь бы угодить, холопски, рабски, лишь бы узреть довольство в своем господине.

По радио неслись призывы и славословия. Да здоровствует великий товарищ Сталин... Да здоровствует товарищ Калинин, Да здоровствует товарищ Киров...

Что-то кольнуло под сердцем. Так, легонько. Но вождь помрачнел, сознание, тут же услужливо, словно его подчиненный, дало фрагмент недавнего.

... возбужденные члены Президиума шумно идут к выходу из зала, объявлен перерыв. Раскрасневшийся Бухарин оказывается рядом, легонько толкает его в плечо и радостно улыбается

- Ну что, Коба, твой друг Мироныч, ныне превзошел тебя...

Сталин, криво ухмыляется, встряхивает головой и прогоняет видение прочь.

Впрочем, Бухарин прав, Мироныч выступил на съезде так убедительно, что овации сорвал заслуженно. Не меньше, чем он. Не меньше... На что намекал Бухарин? Кто может превзойти Сталина? Кто может сметь даже подумать так? И каков, сволочь, на чем сыграл – знает, что Мироныч, настоящий и единственный друг, которому Сталин верил как себе, которого ценил выше остальных, без которого порой чувствовал смертельное одиночество и тоску, - так вот прекрасную речь Кирова тут же противопоставили авторитету Сталина? И все это – с улыбкой?

Он неспешно раскурил трубку, посмотрел в окно на бурую кремлевскую стену, и кошачьей поступью в мягких сапожках прошел по зеленому ковру к недвижному Ежову, теребя прижатой к френчу искалеченной рукой пуговицу.

Трубка вождя уперлась в живот Ежову. Желтые сузившиеся глаза вонзились в переносицу и разорвали надвое душу наркома. Негромкий глухой голос доносился откуда-то свыше.

Сталин заметил, что Ежов едва ли не в прострации, усмехнулся про себя, но спокойно продолжил:

- Вы, товарищ Ежов, курируете наши органы от ЦК партии.

- Так точно, - звонко выкрикнул Ежов.

- Вы должны усилить внимание к товарищу Кирову. Враг не дремлет, – он помолчал. Ему нравились паузы, они позволяли обдумать дальнейшую фразу и еще больше напрягали внимание слушателей. Пауза устанавливала звонкую тишину, зловещую тишину. Какая бывает перед неминуемым грозным разрядом. А его слова и должны быть грозными разрядами, чтобы вонзаться в память навсегда, чтобы доходить до самого нутра и выжигаться там неумолимым приказом.

Он отошел от Ежова, облокотился о стол.

- Да, еще. Необходимо оградить товарища Кирова от вредного влияния некоторых личностей, которые могут дискредитировать любимца партии и народа, - Сталин поморщился, словно от зубной боли, и тихо и медленно произнес. - Ягода не выполняет это поручение как надо. Это плохо. Вы поняли меня, товарищ Ежов?

Ежов щелкнул каблуками и склонил голову, излучая безграничную готовность к любому приказу Сталина. Он все понял. Товарищ Сталин пусть будет уверен, его друг и друг всего советского народа товарищ Киров будет защищен, а с Ягодой он разберется не мешкая.

Сталин заметил блеск в глазах Ежова. Он вздохнул и, отвернувшись к радио, махнул рукой.

- Вы свободны, товарищ Ежов.

Киров возвращался в Ленинград с ХУШ съезда ВКП (б) – съезда победителей - в прекрасном настроении. Все-таки это было здорово – сотни, тысячи восторженных глаз, бурлящее, увлекающее биение сердец в едином ритме, упоительная атмосфера братства, уверенность в своих силах и своей вере, витающие над огромным залом, залитым кумачом, и порывами выплескивающаяся в неистовстве аплодисментов. Так чувствуют себя воины, после долгих лет сражений и лишений, разгромившие врага, и осознавшие вкус и сладость победы. Да, они победители! Годы каторжного беспощадного труда в битве с разрухой и отсталостью не прошли, нет, не прошли даром. Прав Коба - какую машину восстановили! Какое грандиозное сооружение и под стать ему гордое название – Союз Советских Социалистических Республик – на ужас буржуям всего мира, на радость пролетариям планеты! Из лаптей да в сапоги вытащились! Эх-ма! Да просто крылья за спиной растут – и хочется работать, созидать, творить! Сколь еще всего успеть бы! Ничего, успеем! Съезд показал всем – партия тверда и крепка, она – авангард единомышленников. Владимир Ильич мог бы гордиться достойными продолжателями его великого дела... И все наносное, смутное, мрачное, все это утонуло в вихре пронесшегося съезда. И не стоит ворошить память сомнениями – глупости одни... Мнителен ты стал, урожденный товарищ Костриков, усмехнулся про себя Киров. Просто груз последних лет подмял под себя, натер душу, вот и мерещилось, чудилось все недоброе. Да, нужен был съезд. Чтобы и от этого очиститься...

Он вышел из вагона, энергичной походкой прошел через вокзал и вышел на пустынную площадь. Поздний вечер окутал ее темным маревом, и даже снег казался коричневым. По верхушкам сугробов хлестал ветрюган, единственный и полноправный хозяин площади и города в этот час. Киров, уворачиваясь от ветра, подошел к ожидавшей у Московского вокзала служебной машине, грузно уселся на заднее сиденье и задумался.

Водитель, внимательно рассматривал его через зеркальце над собой, осторожно кашлянул и вполголоса спросил:

- Сергей Мироныч, куда?

- Давай..., - Киров помешкал. - в Смольный.

Машина мягко тронулась, черным вороном закружив по занесенным снегом улицам. Выехали на Лиговский проспект. Машину крутнуло вправо, притормаживая, она объезжала рытвину, которую так и не укатало.

- Так и не закатали. – заворчал водитель, - Сергей Мироныч, помните, тут как раз из-за этой дырки машина сломалась, дождь тогда шел. Ну, вы еще погулять вышли... Вот, баламуты, пятый годок уж, а не залатать.

Водитель обернулся, ответит ли что хозяин, но тот молчал.

Киров откинулся на сиденье и закрыл глаза.

Еще бы – он не помнил! Эта рытвина напрочь изменила всю его жизнь, которая казалась уже устоявшейся, широкой и раздольной как укатанный тракт. Он жил и работал в охотку, жадно и щедро ухватывая от жизни, все что она ему дарила. Весело и до потери пульса, с надрывом и бесшабашно. Он кипел, купался, в этой жизни, глотая ее, не разжевывая. Ему нравилось быть впереди, быть первым, и люди признавали его первенство, шли за ним, поражаясь и радуясь его неиссякаемой бодрости, оптимизму, настроению. Он знал, что в городе его любили, и это импонировало, давало дополнительную уверенность в правоте своего дела. И он позволял даже себе небольшие грешки и шалости, и это тоже сходило с рук. Правда, с каждым годом грешков вроде бы становилось все больше. Впрочем, ему казалось, что о его не публичной жизни знают единицы – доверенные люди, которые умеют держать язык за зубами и в присутствии которых ему не приходилось краснеть. После таких шалостей он впрягался в работу как бык, таща управленческую лямку пока не падал замертво от усталости. Судьба баловала его. И он избаловался, все у него получалось, он нигде и ни в чем не ведал отказа, причем ему не нужно было угрожать. Пугать и принуждать. Его указания выполнялись быстро и без пререканий, его планы осуществлялись так, как он этого хотел, женщины отдавались ему с желанием. Эта манящая чарующая круговерть полноценной насыщенной жизни завлекла его в свои сети, и вдруг...

1929 год. Была ранняя осень. И тоже был поздний вечер. И шел дождь. И также мчалась машина по пустынному Лиговскому. И также въехала в рытвину...

Он решительно открыл дверцу и молодецкато выпрыгнул прямо под дождь:

- Пойду пройдуся.

Водитель засуетился, взмахнул руками, в которых держал гаченные ключи, и как-то просительно заметил:

- Сергей Мироныч, так дождь вон какой. Я – быстро.

Киров снисходительно отмахнулся, улыбнувшись виноватой и доброй физиономии шофера.

- Ты – чини, чини. Оно полезно кости размять. И так жирком стал заплывать.

Он медленно шел по тротуару, рассматривая как капельки дождя рисуют на нем водяные сеточки. Дышалось легко, весело. После кабинетных и машинных сидений здорово было оказаться хоть на миг свободным от всяких забот и планов и просто так вот бездумно подставить лицо под струйки дождя.

Да, так и было - он поднял лицо вверх и ощутил на нем колючую россыпь холодных дождинок. А потом ему почудилось, что за ним кто-то наблюдает. Он помахал головой, сгоняя влагу с лица, и тут увидел ее -

под аркой дома-колодца стояла молодая женщина, явно переживавшая дождь. Видно было, что ее успело намочить, серое платье и вязаная кофточка прилипли к телу, подчеркивая его стройность. Прижав руки к груди, она недоуменно и с мольбой смотрела в небо, когда же все это закончится, а затем перевела взгляд на чудака, топавшего прямо по лужам и несколько не пугавшегося дождя. Ее нельзя было назвать красавицей, но удивленные большие глаза делали женщину симпатичной и незащищенной, а смущение придавало некую трогательность. Хотелось просто подойти и обнять ее, успокоить, как маленького заблудившегося ребенка.

Ему стало весело. Он с прищуром посмотрел на женщину, подошел, уперев руки в бока и засмеялся:

- Так можно ждать до утра.

- Спасибо, товарищ, я живу на другой стороне, сейчас только дождь утихнет, и пойду, - торопливо и виновато проронила женщина, будто ее обвинили в чем-то нехорошем.

Она явно не узнала его. И это еще больше развеселило Кирова – ведь его портреты пестрели по всему городу, не сходили со страниц газет. Обычно, при внезапной встрече, узнававшие его либо впадали в оторопь, либо в неумный восторг, либо благоговейно молчали. Известность плохая спутница искренности. Именно искренность в последние годы все реже и реже чувствовалась в окружающих его людях, даже в знакомых. Ее заменяли преданность, льстивость, угодничество, да черт чего угодно, и со временем он махнул рукой на все это – может быть, так и надо, и это удел всех, кто на виду, кто ведет за собой. Но порой хотелось какой-то обыкновенной встречи, беседы, где не будет привычной штамповки в глазах и словах – Так точно, товарищ Киров, - где просто поболтаешь о какой-либо чепухе, по душам, отряхнешься от этого начальственного портрета, который носишь на груди, и все ему поклоняются, как иконе, скажи на милость.

- Дождь, ветер – все пустяки, ерунда. Принимайте жизнь как она есть – и радуйтесь ей... Вашу руку! – он протянул свою руку застывшей женщине.

Она помедлила, с любопытством разглядывая его коренастую невысокую фигуру. Незнакомец явно не походил на жлоба и вора, наоборот – от него просто веяло уверенностью и властью, перед которыми трудно были не смириться. Она нерешительно протянула свою ладонь навстречу протянутой руке.

Он решительно взял ее ладошку и крепко сжал. Он ощутил податливость и повиновение. И повел ее через дорогу.

На другой стороне улицы прямо у подъезда расстилалась большая лужа. Женщина остановилась.

Киров даже ухом не повел. Словно само собой разумеющееся – осторожным и в то же время сильным рывком он подхватил ее на руки и так и пошлепал прямо по луже. У нее перехватило дыхание. Не от наглости, а от силы, от грубоватой мужской деликатности. И вдруг ей захотелось, чтобы этот мужчина нес ее вот так долго и долго, и пусть будет дождь, ливень, снегопад, буря...

Но он так же осторожно опустил ее на мокрую землю.

- Чтобы добиться чего-то в жизни нужно не обходить лужи, а пересекать их. Так-то.

Он улыбнулся ей в лицо и указательным пальцем тихо нажал ей на кончик носа.

Подъехала машина.

- Сергей Мироныч, машина исправлена, - прокричал водитель, высунувшись из окошка.

Он быстро повернулся и пошел к машине. Громко взвыл мотор, и она тут же исчезла за поворотом...

Да, так и было. И он совсем забыл о том эпизоде. И если бы ему о нем напомнили хотя бы через день, он мучительно бы вспоминал – о чем это его спрашивают...

А женщина изумленно смотрела вслед машине, не замечая, как оседает вдоль мокрой стены.

- Это невозможно, невозможно, - шептали ее бескровные губы.

Ноги стали ватными, и она успокаивала себя, что это оттого, что они промокли. Тело мелко дрожало, и она успокаивала себя, что это оттого, что она промокла. И вообще ничего не было – ни сильных властных рук, несущих ее через лужу, ни задорной улыбки, ни шутливо-укоряющих слов насчет того, чтобы пересекать лужи, если хочешь чего-то добиться, - ничего! Наваждение, видение, растаявшее как дым вместе с машиной, исчезнувшей за углом. И тут же бунтующее взрывалось сердце – неправда! Было, было! Киров... сам Киров. Вот он какой, оказывается. И приходил не испуг, а какая-то тревожная и манящая истома. И она понимала, что все это ерунда, так – мимолетный эпизод. Ее судьба капризно и невзначай вспорхнула на другую и слишком высокую орбиту, такое – невозможно. Причуда случая. Да и что было то? Киров уже и забыл про этот мелкий случай – подумаешь.

Помог незнакомке через улицу перескочить в дождь. Почему же она до сих пор как пьяная от всего происшедшего? Дура! А ведь пьянеть она стала от мужских рук и силы, а не от того, когда услышала крик водителя – Сергей Мироныч...

Да к черту все! Выкинь из головы. Земным земное...

Она все же немного успокоилась и поднималась по лестнице парадной быстрее. Надо относиться к этому с улыбкой – повезло, да, не каждую такой человек на руках носит. С кем поделиться – ни за что не поверят, еще и обзовут. Упрятать все это в себе и иногда вспоминать как лукавую проделку судьбы.

В ее размеренной будничной устоявшейся жизни, напрочь лишенной каких-то взлетов, но и падений, все было ясно. Да, появлялись некие узлы, которые требовалось развязать – скажем, вот это устройство на новую работу, с которой ей помог муж, но все это – житейские мелочи. А так она плыла по ровному течению, туповато и ритмично отмечая веслами тихих незапоминающихся дел и поступков повороты своей жизни. Потому прошедшее взволновало ее, пронзив всю с головы до пят, как электрический удар. Так необычно, так скоро, так требовательно с ней не обращались ни разу. И сама она так послушно, так желанно и необдуманно не порывалась к незнакомым мужчинам. А когда этот мужчина оказался сам... Она отказывалась понимать, что произошло. В ее душу ворвался метеор и разворошил там все залежи, разбудил в ней что-то такое, чему она еще не находила объяснения, но начинала этого пугаться...

Ключом открыла дверь. Вот и знакомый коридор коммуналки, знакомые запахи и звуки – все это скоро напрочь выветрит из головы ее глупое возбуждение.

Она разулась, поставила мокрые туфли около половика, надела домашние тапки и тихо вошла в комнату коммуналки.

За столом, в свете лампы под бумажным абажуром, сидел, согнувшись, муж. Он что-то увлеченно писал, высунув язык от удовольствия. Маленькая тщедушная фигура даже подпрыгивала на стуле. Он услышал ее шаги и повернулся:

- Что Мильдочка, взяли тебя на работу?

- Да, Леня, - как-то отстранено и устало сказала она. Ей совсем не хотелось ни о чем говорить, настолько сильным было недавнее потрясение, которое не хотело отпускать ее до сих пор. Сказать о происшедшем мужу, нет, нет, он назовет ее выдумщицей, он благоговеет от самого имени - Киров, и даже если поверит, станет ей завидовать, что это она, а не он оказался на дождливой улице. А потом еще станет упрекать, как она не воспользовалась такой возможностью, чтобы ближе познакомиться с ним – такой случай больше не представится..

Больше не представится, больше не представится – отдалось внезапно в сердце с какой-то ноющей болью. Она вздохнула.

Муж не заметил ее состояния. Он торжествующе захихикал, бросил ручку на стол и потер руки, его лицо пошло пятнами.

- А я что говорил, а ты боялась. Я обещаниями не разбрасываюсь. Меня знают. Уважают, - он пристально посмотрел на нее и к удивлению не обнаружил ожидаемой радости на лице жены. - Ну и ладно, что официанткой. Зато в Смольный. Заметят, пойдешь в рост. Я помогу – заметить. Это я тебе говорю, Леонид Николаев.

Он прошелся по комнате с видом человека сделавшего большое доброе дело и справедливо ожидавшего благодарности. Его длинные руки упирались в бока, впалая грудь пыжилась от натуги. Он был трогателен и смешон. И ее опять укололо – совсем не похож на того подбоченившегося мужчину, потрясающая властность которого сразу приворожила ее. Да, мужчину, - она уже боялась называть его имя.

Мильда подошла к мужу, легко коснулась тонкими пальцами его небритой щеки, она знала, что ему очень нравится, когда она нежно гладила его лицо.

- Спасибо, Леня. Я – рада, просто утомилась, наверное, слишком переживала.

Николаев порывисто обнял ее. Ну, конечно, она устала, как он этого не заметил. Да и погода за окном какая – ишь, вся мокрая. Его охватило чувство жалости к своей Мильде, хотя, все-таки, она должна быть к нему благосклоннее, все-таки не каждый день выпадает такая удача.

- Да черт с ним, - благодушно отозвался он. - Такие вопросы для меня – мелочь. Я ценю, Мильда, твою благодарность. Вспомни, как ты жила, пока мы не встретились...

Она отстранилась, и он понял, что сказал что-то не то, хотя что именно ей могло не понравиться? Ведь истинная правда, он нашел эту женщину в самом плачевном состоянии, и она уже век должна ему быть благодарна, что он ее увлек за собой, сделал человеком. Только с ним вместе она осознала, какая кругом увлекательная жизнь, какие перемены идут и к ним причастен ее муж, который далеко не прост, как кажется с виду, что она приобщена к жизни славного малого, который вдруг в один день окажется гением. Да, да гением... Вот тогда он на нее посмотрит.

- Ну-ну, оставим, - примиряющее сказал он. И лукаво взглянул на нее, - А вообще я теперь чертовски занят одной замечательной, ну просто замечательной идеей, колоссальной для нашей любимой партии, и она, наконец, покажет – кто я. Партия оценит, вот увидишь. Я буду, нет, мы будем знамениты, Мильдочка. Вот послушай...

Он воодушевился, схватил тетрадь в которую что-то записывал со стола, и начал читать. Но к его разочарованию, Мильда отмахнулась.

- Потом, потом Леня. У меня болит голова.

Она прошла мимо него в отгороженный шкафом уголок, имитировавший другую комнату. Там лежала парализованная мать мужа и в кровати спал малолетний сын Маркс. Она машинально поправила сбившееся одеяло под старухой и взяла из ручонки сына деревянный пистолет – подарок папы.

Монотонно тикали часы. Сзади истуканом стоял муж, и она чувствовала, что он на нее обижен. Он всегда прощал ее невнимательность к своей

персоне, но невнимательность к своим идеям воспринимал очень болезненно, мог дуться днями.

Но сегодня, сейчас, это ее почему-то не волновало, как обычно.

...Чтобы добиться чего-то в жизни нужно не обходить лужи, а пересекать их...

И эта решительность, эта улыбка...

Она со страхом в душе внезапно осознала, что совсем не думает ни о сыне, ни о муже, ни о чем, кроме...

Ничего, завтра, когда она проснется, все вступит в свою обычную колею. А сегодня пусть продлится это наваждение в ее мыслях, ведь не каждый день она соприкасается с божеством. Или – с демоном? А, впрочем, есть ли разница, если кровь толчками бьет по телу, и на нем еще ощущается запах тепла сильных мужских рук, и неважно, что это были руки человека, о равенстве с которым даже помыслить страшно.

Дождь по-прежнему, не уставая, лил за окном, его вороватое тревожное бормотанье плескалось за подоконником. И самой ей снился дождь, и она стояла в огромной синеватой луже, совсем одна, а на ее краю топал от возмущения муж и что-то орал, протягивая к ней руки, но ей не хотелось идти в эту сторону. Она оглядывалась и оглядывалась, словно ища кого-то, другого, но куда бы ни поворачивалась, снова на краю лужи появлялся ее Ленья и беззвучно кричал в ее сторону.

Глава 2

Водитель снова обернулся в его сторону:

- Сергей Мироныч, а, Сергей Мироныч, дремлете, что ли?

Киров очнулся, открыл глаза.

- Нет, чего тебе?

- Я что хотел. Это самое. Скажите о Сталине. Ну, как вы видели его, говорили с ним? Какой он?

Киров задумался. Да, конечно, он виделся с Кобой. И не раз. Но почему-то в памяти всплыла последняя их встреча, перед тем как он, собираясь возвращаться в Ленинград, зашел к нему попрощаться. И прощание вышло совсем не таким, как он представлял. Киров нахмурился, вспоминая тихий медленный голос Сталина, подрагивающую трубку в руке, и слова, несколько слов, бьющих наотмашь... Нелегкие слова горькой правды друга другу. Тяжелые слова, таких никто кроме него, Кобы, не осмелился бы ему сказать. Да и самому Кобе эти слова, казалось, давались с трудом, через силу, но он нашел в себе твердость сказать их до конца. И сейчас он их вспомнил снова. До единого.

Губы Кирова криво изогнулись, и он приказал:

- Стоп, поворачивай. Давай домой, на Красных Зорь.

В выделенной первому секретарю Ленинградского обкома ВКП (б) восьмикомнатной квартире на улице Красных Зорь, Киров никогда не

чувствовал себя как дома. Его раздражала пустынная обширность многочисленных комнат, где можно было заблудиться. Эти комнаты излучали казенщину и не выглядели уютными и по-настоящему домашними. Правда, в его партийно-хозяйственной круговерти освоиться по-настоящему в квартире удавалось урывками, и все же он не замечал в себе того удовольствия, когда ты, уставший,ходишь в свой родной дом, теплое гнездо, и тебя ждет тепло и отрада родных стен. Может быть, это отношение было связано и с тем, что в квартире не слышались детские звонкие голоса. А ведь ему уже давно перевалило за сорок. И с каждым месяцем он все болезненнее ощущал нехватку этих голосов здесь.

Как и многие его соратники по партии, по багряным годам Гражданской войны, когда в жилах и голове бушевал огонь революции, и молодость очертело рвалась в самое пекло бурь и заварух, Киров выбрал себе спутницу жизни отнюдь не по любви. То время взывало иные чувства. И разудалая опасная жизнь требовала рядом не кисейных барышень, не очаровательных сударынь, падающих в обморок от вида крови на гимнастерке или от запаха конского навоза, а надежных верных соратниц, воспламененных такими же, как и у тебя идеями, готовых нестись вскачь за тобой, а то и перед тобой, ни во что ни ставящих ни черта, ни Бога, а только – Революцию. Они, эти женщины, оказывались самыми преданными, самыми стойкими, не умеющими ни скулить, ни выть по-бабьи, но умеющими подставить свое плечо товарища, и даже не думалось, что это – женское плечо. Это племя революционерок поражало, вызывало восторг, жажду обладания.

Подобно волчьей стае, связанной одной целью, они выбирали себе жен и мужей из своих, из проверенных, скрученных в одно целое единой борьбой. Именно эта борьба сближала их. И бурные опьяняющие увлечения принимались за любовь. И лишними выглядели женственность, ласки, нежность, будто пережитки царского режима. Увлекала новая страсть, грубая, бесстыдная, бесцеремонная, когда не нужно ни ухаживаний, ни цветов, ни признаний. Мы и так понимаем друг друга, товарищ, нам некогда разводить сантименты, нам нужно контру и буржуев стереть с лица земли...

Это влекло, как влечет нежданная доступность женщины, которая бок о бок с тобой сражается за общую победу с лихостью и отвагой, не жалея ни себя, ни врагов, и не угасшую в дневном сражении бурю отдает тебе вместе со своим телом грешной ночью, как боевому товарищу, как паек на двоих, как прощание перед завтрашним боем...

Мария Львовна Маркус, его жена, была из плеяды этих революционерок, правда, с эскадроном она не скакала, шашкой не размахивала, но горела тем же пламенем революционных идей и борьбы, как и многие ее подруги. Такой одержимой и устремленной и увидел он ее однажды, и как-то спаялся вместе их союз соратников в семейный.

Прошли годы, и они с беспощадностью мудрого времени вдруг отчетливо прояснили, а чувств настоящих и не было. Была привязанность, была увлеченность, была бесшабашная молодость, сблизившая их, но это оказалась не любовь.

Остыв от вихрей Гражданской и первых лет тяжкого упорного переустройства страны, многие пламенные революционеры и революционерки стали тяготиться избранными спутниками и спутницами жизни. Ибо бури – это временно и проходящее, а душе рано или поздно захочется настоящего и нежного чувства. И тогда начиналась тоска по женственности, по той самой любви, которую, оказывалось, просто путали с дружбой, отягощенной телесной усладой. И теперь уже эта услада, собственно говоря, вызывала изжогу, и не услаждала боле. И заглушалась эта тоска тем, что искались разовые, случайные или купленные ласки и улады в ожидании той настоящей любви, которая не обязательно, но вполне может случиться.

Оставались же только память общего прошлого и привычка совместной семейной жизни. И самое грустное в этом было то, что если один из супругов разочаровывался в таком браке, то второй, оказывалось, продолжал или начинал любить его по-настоящему и обреченно.

Так было и в семье Кирова. И драма этой семьи дополнялась отсутствием детей. Мария Львовна не могла иметь детей. И это был приговор ее надеждам на возврат былой любви или увлечения мужа. Впрочем, Киров никогда не упрекал ее в этом, и вообще старался быть обходительным и уважительным мужем, внимательным и заботливым, этого у него было не отнять, но она видела – ни страсти, ни даже похоти в его глазах к ней не осталось и в помине. И она могла бы с этим смириться, если бы не знала наверняка – он ей изменяет.

Она прошла через эти унижения, мерзость и боль, бесясь от собственного бессилия и лжи, но она совершенно не оказалась готова к тому, что ее ждало впереди...

Мария Львовна вышла из комнаты. Связанные сзади в жесткий узел седеющие волосы делали ее лицо строгим и постаревшим. Она молча смотрела как Киров снимает шапку, стряхивает с нее снег.

- Вот, приехал. Как ты, Маша? – бодро спросил Киров

- Хорошо, - безучастно отозвалась она. - Ужинать будешь, или ты – уже сыт?

- Не хочется, - махнул рукой Киров и улыбнулся ей. – Ты как-то нерадостно встречаешь мужа-победителя? Где шампанское?

- Хорошо, что ты сыт. Твоя постель разобрана, - она не поддалась на его игривость.

- Погоди. Ты хоть радио слушала? Слушала меня?

- Слушала, - кивнула Мария Львовна.

Киров вытянул вперед руки, потянулся и прижмурился.

- Ты представляешь, Маша. Зал – как, как один мотор, и этот мотор поет. Силища! Порыв! Коба – глаза светятся, мы – победители! Какая же мы силища, Маша!

- Извини, Сережа, я очень плохо себя чувствую, - она повернулась и направилась в свою комнату.

Киров потемнел лицом и догнал ее.

- Маша! Ну сколько можно вот так жить «как в проруби»? – его звонкий голос звучал и требовательно и как-то просительно.

Маркус отстранилась.

- Ты сам знаешь – почему мы так живем. Впрочем, я тебе не мешаю. Спокойной ночи.

Киров остановился, по щекам у него заходили желваки, он хотел что-то сказать, но сдержался. Развернулся, раздраженно махнул рукой и пошел на кухню. Угрюмо осмотрев кухонные полки, плиту и чистые полотенца на спинке стула, взял стакан, налил полстакана водки, залпом выпил и прошел в свой кабинет.

Не раздеваясь, Киров тяжело лег на диван, и закурил, но тут же погасил папиросу о пепельницу...

Рывком поднявшись с дивана, он подошел к телефону. Прежде, чем взять трубку, он зло хмыкнул в коридор квартиры, вычерчивавшийся полутьмой за неприкрытой дверью кабинета.

На другом конце провода отозвался дежурный Смольного. Услышав, кто звонит, дежурный бодро и лаконично сразу стал докладывать, что произошло за время отсутствия первого, что всегда нравилось Сергею Мироновичу, но не в этот раз. Киров нетерпеливо перебил его.

- Все, кто ждет меня в Смольном - свободны. Я не приеду.

Он положил трубку на рычаги, прошелся по кабинету и снова закурил. Клубы дыма поплыли над комнатой. Он представил, что там сейчас в Смольном.

Дежурный Смольного вошел в приемную Кирова.

- Сергей Мироныч приказал всем быть свободными, он не приедет.

Потоптавшись, он ушел.

За секретарским столом сидела секретарь Кирова Мильда Драуле. Она молча выслушала дежурного и сухо ему кивнула, и только после того, как он ушел, она закрыла лицо руками и заплакала навзрыд.

Глава 3

Как же все-таки беспощадно стремительно время. Не зацепиться за него, не насладиться допьяна его счастливыми мгновениями, которые тем более скоротечны, ибо редки в мякине однообразной будничной суеты. И когда такое мгновение наступает, как вдохновение меланхолического поэта, звездой озаряя все вокруг и зажигая душу и тело в порыве неистовой радости и трепетного чувства обладания тем самым, ради чего ты, собственно, возможно и родился и жил, все кажется легким, ласковым, преодолимым и добрым. У каждого в его судьбе есть такие мгновения, или хотя бы одно, но непременно. Упавшее на голову яблоко или выплеснувшаяся вода из ванной – таковы одни из счастливых мгновений Ньютона и Архимеда. Первый поцелуй обожаемой девушки из сказки первой любви – тоже из таковых мгновений. Даже невзначай поднесенный стакан вина, выпив который

ощущаешь, что мир стал лучше и сноснее, тоже для кого-то счастливый миг. И не приходит в голову (да и зачем!), что рано или поздно все закончится, что рано или поздно наступит похмелье, что рано или поздно за все придется платить. Особенно, если счастливые мгновения сотканы из паутины греха. А греховное счастливое мгновение слаще вдвойне ведь, и настигает совсем не вовремя, и весьма некстати, и сжигает своим дурманящим пламенем невзирая ни на что и ни на кого ...

1929 год. Двенадцатый год строительства социализма в перепаханной России, недавно с трудом осилившей заумное слово – индустриализация, и начинавшей выучивать не менее мудреное и непонятное – коллективизация.

1929 год. Год великих и малых строек. Первый год победы над троцкизмом. Очередной год дальнейшего сплочения трудящихся и крестьян вокруг правящей мудрой партии большевиков. Год нового подъема энтузиазма масс, ведомых энергичными верными вождями-ленинцами к победе коммунизма. Год, когда преклонение перед этими вождями стало переходить в обожествление...

Сергей Миронович Киров, как всегда скорый, подвижный, веселый от азарта кучицы самых разнообразных дел, которые он любил разгрести не просыхая от пота, вместе со вторым секретарем Ленинградского обкома Чудовым шел в смольнинскую столовую.

Михаил Семенович Чудов явно не походил на своего патрона. Медлительный, флегматичный, он и внешне напоминал этакого сухаря, педанта, зануду. Его бледное бесстрастное лицо, изможденное ранними морщинами, следствием кропотливой работы – как и Киров он также любил вгрызаться в любые дела и решать их, правда, не с азартом, а с какой-то болезненной необходимостью. Ему часто приходилось подменять Кирова, завершать его начинания, скрупулезно и тщательно, медленно и верно, доводя до белого каления и выворачивая жилы из всех, кого это касалось, но – до последней точки, до последнего винтика, до последнего кирпичика. Киров знал, что Чудов спуска никому не даст и не отступится, клопом, пиявкой, волком будет сосать, грызть, надоедать, но своего добьется, и потому доверял Чудову. Впрочем, не только в делах. Михаил Семенович боготворил Кирова, несклонный к дружбе, он ревниво выполнял все его команды, распоряжения, желания и прихоти. Скажи ему Киров – прыгни с балкона, и он прыгнул бы, не разбираясь в логике и смысле такого указания, ибо оно исходило от того, чьи слова и поступки непогрешимы, даже если они грешны изначально. Потому Киров не стеснялся присутствия Чудова даже в тех случаях, когда повод был интимным или конфиденциальным, он знал, что дальше ушей и глаз Чудова ничто не пойдет. Скорее всего, Киров просто даже не задумывался, что думает по тому или иному поводу его, Кирова, поступков, сам Чудов, и даже бы очень удивился, если бы тот стал ему перечить, пенять или совестить. Тот ореол, который был создан вокруг личности Сергея Мироновича, который уже сложился и в его собственном сознании, не нуждался в каких-либо посторонних оценках и суждениях, тем

более, упаси Господи, в осуждениях или замечаниях. Впрочем, кому бы пришло этакое в голову даже в страшном сне.

Короче говоря, Чудов был истинным, умным, верным и жестким служакой, искренне веря в торжество идей социализма и коммунизма и осознавая с каким великим человецищем ему выпало работать плечом к плечу. При этом оба, и Киров, и Чудов полагали, что так оно и должно быть, совершенно не задумываясь – почему.

- Ты за этим обязательно проследи. Семеныч, - на ходу втолковывал Киров Чудову, сосредоточенно кивавшему большой головой. - Клуб должен быть как дворец. Понял? Именно как дворец. Чтобы люди приходили и – гордились – вот что для них Советская власть делает.

Киров был заворочен идеей создания просторных светлых грандиозных сооружений, где трудящихся пролетариат после работы и в выходные мог культурно отдыхать – читать в библиотеке, заниматься в кружках самодеятельности, слушать лекции о текущем моменте, в общем – культурно расти, а не пьянствовать во дворах и не шляться зеваками по улицам. И хотя в Ленинграде было достаточно бывших дворцов, оставшихся после всяких князей и буржуев, Киров желал своих, советских дворцов, настоящих очагов культуры, где пахло бы изначально рабочим духом, без всяких там амурчиков, пошлых фресок, вычурной лепнины и голых скульптур, отвлекающих внимание советского человека.

- Не успеют они достроить к празднику, Сергей Мироныч, ей же ей не успеют, - не переставая кивать, заметил Чудов.

Киров внезапно остановился, круто повернулся к замершему Чудову и упер кулаки в бока, расставив по-кавалерийски ноги. Его взгляд мгновенно стал жестким.

- Успеют! – очень тихо и внятно произнес Киров. - Другого слова – нет! – голос его стал громче и звонче. - Иначе я этого строителя сам лично вот этими руками... - для убедительности он помахал кулаками перед глазами Чудова. - Так ему и передай. Со мной шутить в делах не стоит... - Киров помедлил, остывая, остался доволен вытянувшимся тут же, словно стебель овса, Чудовым, - Ладно. Чего стал-то. Пошли, пожрать охота, с утра без крошки хлеба бегаю.

Он также снова круто повернулся и прошел в столовую. Чудов торопливо поспешал чуть сзади, нудно обещая:

- Знаю, что шуток в делах вы не любите. Передам, Сергей Мироныч, все передам, как положено. На контроль себе поставлю. Буду сам его душить... Тогда может – выживет, без вашего участия-то...

Киров одобрительно похлопал его по плечу, и оба весело рассмеялись. И тут же прямо в дверях, не заметив торопившуюся официантку, он боднул ее плечом. Загремели пустые стаканы, вместе с подносом шмякнувшиеся на пол. Официантка моментально густо покраснела, так что ее светлые пряди волос тоже казались алыми. Она застыла, тупо глядя на разбившиеся стаканы, не в силах поднять глаза на Кирова.

Тот быстрым взглядом скользнул по ее ладной стройной фигуре, по огорченному симпатичному лицу, крайне смущенному и от того весьма привлекательному. Официантка готова было вот-вот расплакаться.

Осторожно пальцем коснувшись ее подбородка, Киров поднял ее лицо к своему – на него смотрели огромные влажные серые глаза, доверчивые и изумленные. Он деланно нахмурился:

- Вот как! Передо мной! Битая посуда! А-я-я-й!

Официантка захлопала чуть накрашенными ресницами, зрачки ее глаз расширились, в них было запросто утонуть. Кирову стало неожиданно легко и радостно. Он искренне расхохотался:

- Да что вы так заробели, красавица! Шучу я, - он повернулся к маячившему за плечом Чудову. - Ну вот, смотри, Чудов, напугал бедную.

Прищурившись, он наслаждался этими серыми глазами, в них таилось нечто большее, чем простой испуг и изумление. Киров мотнул головой, чтобы отогнать наваждение, и убрав палец от подбородка официантки назидательно помахал им перед нею:

- Запомни, товарищ официант, все трудности преодолимы, даже если это касается битой посуды.

Официантка потупилась, но вдруг невольно улыбнулась, и смело посмотрела прямо в глаза Сергею Мироновичу.

- Я помню, что лужи нужно пересекать, а не обходить.

Киров удивленно воззрился на нее, что-то припоминая. Официантка, неловко буркнув, извините, смущенно убежала.

- Сергей Мироныч, так пойдем обедать или нет? – напомнил о себе Чудов, никак не взявший в толк, с чего бы это Киров застыл как вкопанный и не сводит глаз с убегающей, но обычной официантки.

Киров не любил обедать в отдельно отведенном месте в столовой. Ему нравилось быть в гуще народа, даже если этот народ из подчиненного ему аппарата, страшно смущающий его близости присутствия.

Его столик находился, правда, в уютном удобном уголке, где никто не мог его толкнуть или помешать иным образом трапезничать. Впрочем, Киров обедал в Смольном очень редко, часто время обеда заставляло его в цехах, на стройках или еще черт его знает где. Но уж если выпало, то выпало.

К столику винтом подкатил начальник столовой, полнеющий лысоватый субъект, имя и отчества которого Киров запомнил. Глава столового ведомства изобразил радушную улыбку и полную готовность выслушать самые нелестные замечания, если что, и спросил, склонившись напротив Кирова.

- Сергей Мироныч, как обед? Удался? Какие замечания будут?

- Обед у тебя на славу, как всегда. Молодец!, - махнул вилкой Киров, явно рассматривая как за широкой фигурой начстоловой все еще рдеющая маковым цветом официантка у входа подметала осколки битых стаканов. Киров ткнул в ее сторону вилкой. - Ты-ка вот что мне скажи – откуда у тебя такая хорошенькая официантка, что-то такой раньше не замечал.

Начальник столовой мигом сориентировался по направлению указанного вилок предмета:

- Кто, осмелюсь спросить? Вот та, что подметает? – Киров кивнул. - А – эта латышка? Так она у нас работает уже три месяца, нареканий не имеет. А что надо сделать?

Киров отчего-то сразу вспомнил отчество начальника столовой. Такое бычье отчество какое-то.

- Вот что, Маргелыч. Вечером намечено торжество в Мариинском, похлопочи о столе, - он постучал пальцами по столу. - Ну и пошли своих официанток для обслуживания. В общем, схема тебе понятна.

- Все будет в порядке, Сергей Мироныч. Не сомневайтесь, - стремительно и твердо отрапортовал начальник столовой, словно ему поручили дело государственной важности.

Киров равнодушно добавил:

- Кстати, направь и эту, новенькую. Как ее зовут, говоришь?

Начальник столовой запнулся.

- Эту? Да у нее что имя, что фамилия – язык сломаешь. Мимильда, или Лимильда, кличут, а фамилия еще похлеще, кажется, Драуле, осмелюсь доложить. Мы ее тут просто Милой зовем.

Он подобострастно склонился еще ниже:

- Все будет сделано. Товарищ Киров.

Вечером того же дня в Мариинском театре триумфально завершалась конференция совслужащих, посвященная дальнейшему сплочению партийных рядов ВКП (б) в государственных учреждениях и итогам партийного очищения от паршивого троцкизма и связанных с ним уклонов. Единение партийцев было налицо, все как один сурово заклеями позором ошибочность и вредность троцкистских воззрений, выразили полную солидарность с жесткой линией партии на самоочищение, клятвенно заверяли сердечную верность великому курсу Ленина-Сталина.

Раскрасневшийся Киров выступил несколько раз, еще и еще нацеливая зал на непрестанную бдительность и непримиримость в отношении любых не согласных и колеблющихся.

- Классовая борьба не затухает с развитием социализма, как полагали некоторые успокоенцы, а наоборот, только обостряется, как это верно заметил наш вождь и товарищ, наш товарищ Сталин... - резюмировал первый секретарь Ленинградского обкома ВКП (б). – И наш общий долг. Наша обязанность быть честным к себе и к товарищу рядом. Поправить заблуждающихся, убедить сомневающихся и быть безжалостным к оппортунисту, как к врагу. Да здравствует наша ленинско-сталинская партия большевиков!

Взрыв аплодисментов сотряс театральный зал. Люди вскочили, влажнющими глазами взирая на сходящего с трибуны Кирова. Отовсюду неслись кличи:

- Да здравствует товарищ Сталин!

- Да здравствует наша партия!

Откуда-то прозвучал крик:

- Да здравствует великий соратник товарища Сталина – товарищ Киров...

И гром аплодисментов превратился в шквал.

Киров на мгновение запнулся, на его лице блуждала непонятная гримаса то ли удовлетворения, то ли недовольства, этого было не понять от режущего цвета кумачей и яркого света. Он успокаивающе поднял руку в приветствии и сел на свое место в президиуме.

- Здорово, Сергей Миронович, - нагнулся к нему Чудов.

- Ладно, баста, - отмахнулся Киров, отдуваясь. – Устал я.

Чудов кому-то мельком кивнул, аплодисменты стали стихать. И тут же несколько голосов слаженно и звучно запели строки Интернационала.

Слова подхватил весь зал, пели так же стоя, не слыша ни себя, ни соседа, отдавшись всецело единому воодушевленному порыву. И под сводами прославленного некогда царского театра парило убеждение своей правоты и правильности выбранного пути, парила уверенность обретения равенства, братства и неминуемой победы коммунизма.

Шумными группами участники конференции неторопливо покидали театр. Киров, Чудов, и ряд наиболее приближенных соработников удалились в укромные апартаменты, неизвестные и невидимые для посторонних.

В небольшом зале, с огромными зеркалами по стенам, судя по всему, в обычное время, предназначенным для репетиций, были накрыты столы с манящими закусками, разнообразными бутылками с шампанским, водкой, вином и пивом, с графинами со студеной водой, соками и квасами, с выложенными разрезанными тушками стерляди и осетрины, увитыми зеленью и овощами, с разумеющимся румяным парным поросенком, и от всего этого шли дразнящие ароматы и запахи, поднимая настроение и аппетит голодным высокопоставленным партийцам после трудного и успешного дела.

Почтительно выждав, пока Киров вместе с Чудовым и своим старым приятелем Медведем, главой ленинградского НКВД, первым не пройдут и не усядутся на самые почетные места, остальные приглашенные степенно и скромно уселись на отведенные им стулья, впрочем, не чувствуя себя второсортными, ибо попасть на товарищеский ужин с самим Кировым означало огромное счастье, даже если тебе и не достанется ломтик парного поросенка или колечко севрюги. Впрочем, еды и питья было довольно, и, как обычно, на такого рода застольях, скоро стало шумно и весело.

И в довершение ко всему посреди зала невесть откуда выпорхнули молоденькие балерины, которые своим задором, юностью, стройностью и кажущейся доступностью овладели вниманием и мечтами мужского советско-партийного аппарата.

Скромно потупившись, они танцевали чардаш и польку, калинку и плясовую, вскидывая прелестные ножки достаточно раскованно. Но их

подрисованные глазки время от времени стреляли в сторону кого-либо, кто с открытым ртом и забытой в руке вилкой с наколотым куском колбасы, лоснящимся взглядом выпивал в возникшем желании красоту танца и балерины, после чего такой «подстреленный» судорожно тянулся к бутылке, наливал полстакана и хватал сразу же, шумно выдыхая из себя водочную отрыжку и наваждение разом.

Умело подобранные полутона освещения зала придавали этим грациям еще больше очарования и женственности. И товарищеский ужин все больше начинал походить на чудную и откровенную пирушку, где можно позабыть о партийных буднях и окунуться в иллюзию сказок из тысячи и одной ночи.

Впрочем, девушки по большей части посматривали в сторону самого. В сторону Кирова, который представлялся им живой легендой, идиолом, героем, и в то же время реальной плотью, мужчиной, смеющимся и увлеченно болтающим с какими-то важными мужиками и даже не поглядывающим как ради него стараются эти нежные феи и дриады.

Официантки из смольнинской столовой обслуживали гостей, зная свое дело, - споро и не докучая. Лишь впервые попавшая сюда по прихоти всесильного первого секретаря Ленинградского обкома латышка Драуле не могла опомниться от впечатлений.

- Давай, давай, не зырь, - подталкивали ее другие. – Вон у того толстого, бутылка пустая, неси другую, ишь как озирается...

И все же, чисто автоматически выполняя свою работу, Драуле тоже мельком смотрела в сторону Кирова. У нее перехватило дыхание и сузились глаза, когда она увидела как две балерины подбежали к Кирову и обняли его, и он со смехом стал их целовать – смачно, крепко и в губы.

- Не про твою честь, - раздалось у нее над ухом.

- Шлюхи! – вырвалось у Драуле. Она повернулась в сторону, рядом с ней стояла с подносом Фаиночка, бесцеремонная и симпатичная бабенка, тоже официантка из смольнинской столовой, с которой Драуле уже успела немного сблизиться.

- Ну, не девки точно, - согласилась Фаиночка. – И не такие уж молодые, просто умеют себя блюсти, чай – балерины. Эвон, как под девочек стараются, а суки еще те. Но все равно рот не разевай, не для тебя тут куски. Они, эти суки, все одно помоложе нас будут, да повертлявей. На наши задницы при таком раскладе тут мужики глазеть не будут. Давай, шевелись, надо горячее подавать...

Драуле, выбрав свободную секунду, опрометью заскочила в уборную. Остановилась перед умывальником, включила воду и уставилась в зеркало. Зажатые от злости губы, вздернутый нос (не носик), пепельные мрачные глаза, еле заметная, но появившаяся складка на лбу, если приглядеться видна сеточка морщин под веками. Старуха! Чего она хотела, о чем возомнила, когда начстоловой приказал и ей собираться в Мариинский.

- А меня зачем? – удивилась она тогда.

- А затем, сам приказал, - поднял вверх палец начстоловой. – Цени момент, баба!

И чего она ждала? Думала, что Киров добрым молодцем подкатит к ней, обнимет и позовет танцевать? Дура! Да он даже не заметил ее тут в таком бедламе, да он уже и позабыл о ней. Блажь вскочила в голову да и вылетела у него. А у нее? У нее с какой стати тоже блажь? Твое дело, товарищ Драуле, тарелки, вилки, ножи, подносы, да бутылки откупоривать, да салфетками убирать грязь на столах. Знай свое место, дура! Подумаешь, дважды показалась ему на глаза. И что? Что? Что? О чем твои шальные глупые мысли, о чем ты вдруг, ты, замужняя женщина, мать, баба! Да, баба, разменявшая уже третий десяток. Почему ты злишься на этих молодых, пусть не юных, но молоденьких потаскух, этих балерин, куда как пригожих и вожделенных для мужика, чем ты, потасканная старуха! Старуха!

- Дура, дура, что мне надо, - с ненавистью прошептала она зеркалу.

Весь сумбур мыслей превратился в одно осуждение. Осуждение себя, как помраченной идиотскими иллюзиями, и внезапно узнавшей правду.

Она заплакала. Неожиданно. Быстро. От души. Навзрыд. Сведя пальцы до ноющей боли.

Ее отсутствия никто не заметил. Зал наполнился едкими парами алкоголя и табака, где-то танцевали, где-то пили, где-то смеялись, где-то громко что-то обсуждали. Стояли шум и гам, бегали вспотевшие официантки, в своих белоснежных платьицах и косынках у столиков кое-где виднелись балерины.

Драуле с тоской заметила, что Кирова за столами нет. Уставшая злиться на себя, все же ей было неприятно, что она ощутила эту тоску.

- Перестань, дура, старуха, - остервенелось зашипела она себе под нос.

И тут ее словно кто-то стегнул кнутом – больно и неожиданно. Краем глаза она увидела выходящего из зала Кирова с теми же двумя балеринами. Не осознавая что она делает, машинально Драуле, стараясь быть неувиденной, что было и не так уж сложно, ибо в полупьяной кутерьме уже никто ни за кем не следил, она вышла следом и увидела, как Киров с балеринами зашли в маленькую комнату, напоминающую гримерную.

И тут ее прорвало. Все убеждения в старости и дури, все доводы о собственной женской несостоятельности, все уверения в моральной неприглядности странного и ни чем не обоснованного увлечения замужней женщины другим мужчиной, все крючки разума, все рассыпалось и исчезло. Осталось только видение – он заходит в комнату и с двумя сучками-балеринами. Женское чутье, помноженное на обиду, дало ей острое ощущение – что там будет.

Мелкими шагами она пошла назад, снова зашла в зал, туманным застывшим и не понимающим взглядом обвела калейдоскоп лиц, блюд, зеркальных стен, бутылок, фартуков, скатертей... - перед глазами все плыло и сливалось в один образ – дверь в той комнатке. И она внезапно отчетливо поняла, что если она не увидит сейчас, тотчас, что там – она не сможет дальше жить спокойно, дышать, чувствовать, верить во что-то, даже несбыточное.

Выждав минуту неизвестно что, во всеобщем шуме, она схватила поднос с шампанским и графином водки, и пошла снова к этой комнате. Ее никто не остановил, даже если кто и заметил ее движения, подумал, что официант обслуживает кого надо.

Постучав в дверь, она выдохнула из себя весь воздух и решительно зашла внутрь. И на этом ее отчаянная смелость и закончилась. Она испугалась того, что делает, вернее, уже сделала, но было поздно. Она добилась, чего хотела – она за дверью этой комнатки.

Полуобнаженная балерина с упругой свежей грудью и взъерошенный Киров веселились на диване. Вторая балерина деловито раздевалась в углу. Увидев официантку, первая балерина ойкнула и отскочила на край дивана, вторая так и застыла, зажав в руке снимаемые трусики.

Киров сердито повернулся к двери. Драуле увидела как исказились черты его лица, еще до того, как она увидела его взгляд, и у нее все оборвалось внутри. Нет, она даже не дура, она пустышка, ничтожество, и будет правильно, если от нее не останется даже пыли.

- Какого черта! – Киров наконец повернулся.

На лице самой Драуле не было ни кровинки. Оно словно было вылеплено из мела.

Она даже не заметила, что Киров явно обескуражен. Собрав остатки сил и воли, она залепетала:

- Меня...я... сюда послали, видимо, по ошибке... Извините.

Она еще могла заметить снисходительную улыбку первой балерины и то, как вторая покрутила пальчиком у виска. Она только не видела, старалась не смотреть на самого Кирова, это было выше ее сил. И вдруг, плеснув в стакан водки, она залпом выпила ее. И в сердцах закричала, как прощальное отчаяние побежденной, как незаслуженно обманутой неизвестно кем и почему, как лишившейся надежды на ожидаемое невероятное счастье, как последнее прости тому, кто открыл твое сердце и держал его в руках и равнодушно отбросил в сторону, не зная, что он делает. Это был жест влюбившейся и разочарованной этой любовью женщины.

- Вот вам!

Она грохнула подносом на столик. И выскочила вон. Бутылка открытого шампанского упала с подноса и из не с шипением выливалась пеннистая искрящаяся жидкость.

Киров почему-то озадаченно смотрел именно на то как выливается из бутылки шампанское, затем задумчиво, уставился на захлопнувшуюся дверь. Балерина с края дивана придвинулась к нему и обняла. Но, почувствовав какую-то холодность, недоуменно отстранилась и захлопала глазами в сторону подруги. Та пожала плечами, но на всякий случай одела трусики. Киров молчал, а балерины не решались потревожить его. Было ясно, что веселье интима куда-то улетучилось. Вдруг Киров решительно встал, виновато улыбнулся:.

- Ладно, Танюш, мне пора. Зайду в другой раз. Не обижайтесь, девчушки. Погуляем потом.

Он вышел прочь. Ту, что звали Танюша, прыгнула с дивана и стукнула кулачком по колену.

- Нет, ну надо же, каких дур на свете полно. Все перепортила.

Она повернулась к подруге и ее большие глаза стали удивленными. Она провела языком по губам.

- А ты зачем одеваешься. Оля. Эта крыса разлила шампанское. Но у нас еще есть водка. Нам торопиться некуда, только я закрою дверь на крючок от всяких полоумных.

Не сказать, что Киров был обескуражен выходкой официантки, как он припомнил – латышки. Но он был задет. Едучи обратно с Мариинского домой, откинувшись на спинку сиденья машины, он поневоле возвращался к инциденту. Выпитое (впрочем, как мужчина крепкий и здоровый, он умел сдерживать себя, и пил в меру, понимая, что с утра с больной головой чертовски трудно войти в привычный напряженный график работы, а отчасти и из-за того, что его жена не выносила пьянства, а ссориться с ней и на этой почве он не хотел) приятно кружило голову, возвращая к прошедшему вечеру. Однако, как он ни пытался сосредоточиться на деталях прошедшей конференции, на своем выступлении, на последовавшем банкете и на разговорах с Чудовым и Медведем, наконец, на времяпрепровождении с балеринами, в мозги упорно лезло видение этой клятой официантки – ее не дрожащие, застывшие пальцы, добела сжавшие стакан водки, ее лицо, не дрогнувшее от выпитого, ее ледяные серые глаза, искрившиеся инеем негодования, отчаяния и страха. Нет, ну какова – хлебнуть при нем, при Кирове водки! Каково, а – крикнуть – Вот вам! Какова женщина...

Ему стало смешно. В своей насыщенной и даже кое в чем пресыщенной жизни он навидался всякого. У него никогда не было каких-либо проблем с женщинами, и он даже привык не встречать ни в ком отказа, воспринимая как должное их ласки, восторги и желания им обладать.

Со временем женщины стали разумеющейся составной частью его рабочего ритма, будничной, хотя и приятной нагрузкой, позволявшей отвлекаться и отдыхать от дел, все одно что принимать ванную после напряженного рабочего дня. Но ни к кому из женщин он не испытывал привязанности. И если бы кто спросил его, любит ли он кого, то Киров, не мешкая, ответил бы искренне, что любит лишь одну – свою жену. Он и сам в это верил, и удивился, если бы это было иначе.

По большому счету, за свою жизнь по-настоящему он ни в кого не влюблялся – не до того было: революция, гражданская война, разруха, восстановление страны, заполошная партийная и хозяйственная работа до умопомрачения, забиравшая всего его помыслы и силы. Мария, Мария Львовна стала для него откровением в виде истинного преданного товарища, умной и сильной женщины, идейного соратника, и все это вместе с возникшей некогда симпатией и определило его отношение к ней. И это отношение он и принял за любовь, поняв, что такой и должна быть любовь. И это заблуждение устраивало его, ибо ничего не надо было искать, ни

страдать, ни грезить – на что он не имел ни права, ни времени, ни возможности.

Будучи мужчиной в самом соку – между сорока и пятьюдесятью – он уже не искал в себе юношеской романтики и радужных лирических ощущений – и относился к этому снисходительно. А оставшиеся физические силы и страсть со всем ее манящим бесстыдством (чего он не мог позволить с Марией Львовной, так и не совместив ее, как, в первую очередь, товарища и друга с - женщиной) он отдавал как бы попутно случайным (даже если случайность и затягивалась на какое-то время) знакомым и незнакомым женщинам, покоряя их не только своим именем, но и мужской силой.

И все-таки его сердце билось ровно. Ему льстили удивленные, сникающие перед ним, жаждущие его прикосновения женские глаза и тела, но и это воспринималось как должное, как естественное удовлетворение сил и эмоций. Он знал молоденьких и зрелых, стеснительных и распутных, жгучих и холодных... Он слышал ласковые и истеричные, шепчущие и кричащие, льстивые и грубые признания... Он привык к этому, как привык утром к стоящему у дома служебному автомобилю и водителю, как к служащим Смольного.

Эта официантка оказалась способна на поступок. Чисто женский по существу, и мужской – по смелости. Такого он не встречал. Как же она преуспела? Да ведь она его просто отчитала как нашкодившего школьника, заставила оказаться в положении виноватого, чего с ним, сколько он себя помнил, не бывало.

Потому он был задет, и потому как-то ему стали равнодушны две смазливые юные балерины. Потому что он увидел вдруг искреннюю страсть в серых глазах одетой и (черт возьми!) ревнующей его официантки, а не в раздевающихся балеринах, ждавших от него только плотского удовлетворения, которым просто льстило, что с ними будет ласкаться сам Киров. И – все! С балеринами, как со всеми остальными своими женщинами, все было знакомо и пройдено, пресыщено – им нужен был Киров для собственного уважения, гордости, доказательства своей женской привлекательности.

И как это она, эта латышка в фартуке официантки (а ей он идет) не швырнула в него стаканом с водкой, а просто выпила. И вдруг его осенило – а ведь, если бы швырнула, а? Он бы простил ей это.

И от этой мысли Кирову совсем стало смешно и как-то легко на душе. Он похлопал по плечу обернувшегося на его смех водителя:

- Поднажми, браток. Спать хочется...

Совершенно по-другому чувствовала себя Мильда Драуле.

Она не соображала как вообще оказалась дома. Выскочив опрометью из примерной комнатки, она вдруг оказалась в зале, где по-прежнему было шумно и людно. Ее била дрожь, все валилось из рук, она невпопад на кого-то натыкалась, что-то роняла, вылила на фартук вино. Все плыло как в тумане, и прямо в раскрытые створки души проникал суровый осуждающий взор

Кирова. Ее трясло от этого прикипевшего взора. Она шарахнулась, когда ее кто-то дернул за плечо. Но это был не Киров, а Фаиночка.

- Да что с тобой, Мила? –дохнула она не нее сладким перегаром шампанского и изумленно отшатнулась – Да ты пьяна! Вот что. Девка, ну-ка духом отсюда, я скажу, что с непривычки заболела, совру чего-то. марш домой, прикрою уж, а не то, попадешься кому на глаза, вышвырнут с работы, и не пикнешь...

Приходить в себя она стала понемногу, когда уже поднималась по обшарпанным ступенькам парадной к вдруг опостылевшей квартире, в которой находилась такая же опостылевшая коммунальная комнатка ее семьи. Только здесь, на ступеньках, она осознала весь ужас случившегося. Она боялась даже думать о том, что произошло, и что теперь будет. Она боялась взгляда мужа, его слов. Он сразу догадается, что у нее беда. Но как она скажет ему – что случилось? Как? Он не поймет? Он уразумеет лишь, то, что она теряет такую сытную, с трудом найденную для нее работу, и возненавидит ее. Господи, да что же за наказание эта жизнь?

Она сорвалась.

Да, она сорвалась. Неразумно, по-бабьи, поддавшись какому-то властному и тяжкому инстинкту, который напрочь отбивает способность думать и подчиняет властно себе, своей неодолимой силе. И никто не сможет объяснить ей – почему так произошло, ради чего она натворила такое. И никто уже ей не поможет.

Она не просто дура, которая импульсивно, тупо безотчетно вершит гадкий неоправдываемый поступок, она – сволочь к тому же. Ибо не думала о последствиях, о том, что будет с мужем, с сыном, с больной свекровью... И еще она страшилась одного слова, которое объясняло все, но, объясняя еще больше все запутывало. Откуда у нее, с какой стати, от какого повода возникло то, что называется этим словом? Какой демон увлек ее за собой, что она позабыла в этот вечер обо всем – о себе, о семье, и ринулась в эту дверь как в пропасть. И – прыгнула, бесшабашно, отчаянно, безвозвратно, глупо...

И уже, открыв ключом дверь, она прислонилась к ее деревянной панели головой, ибо слово рвалось из ее сердца, и сознание утвердительно говорила этому слову – да, так оно и есть.

Это слово называлось – ревность.

И она знала, что не бывает ревности без чего-то другого. И об этом другом она думала с ужасом. Но надо успокоиться, Леонид ничего не должен видеть. Ну, вот и славно, она может брать себя в руки. – прочь, прочь всякую чушь из головы. Есть семья, муж, сын, все очень даже хорошо...

Вот она и дома. Сидит на стуле, смотрит в окно. Никто ничего не заметил, и хоть это утешает. Она слушала как муж диктовал сыну Марксу свой новый проект, и тот прилежно записывал.

- Поставь точку. Так. Пиши. Ограничение коллективного руководства несовместимо с идеей большевизма. Большинство должно решать все насущные вопросы, тогда и меньшинство будет вынуждено подчинять свои мелкие интересы под большинство. Это очень важно понять, чтобы осознать

грандиозность предлагаемого проекта. Именно – большинство – ведущая сила, способная осилить задуманное мною. И это полностью отвечает целям партии и мудрому руководству великого Сталина. Подчеркни! Что рукой машешь? Устал? Хорошо. Так, пару минут подыши, потом...

Николаев скосил хитрый взгляд на нее, словно ожидая е реакции – каково, а? Какой полет мысли у е мужа! Но, увидев, что Мильда безотрывно смотрит в темное окно, помрачнел и кашлянул.

Драуле внезапно осознала, что ей все это неинтересно, неинтересно, то что она выслушала какую-то мужнину ахинею, может и не ахинею, но она в этом совершенно не разбирается, что ей абсолютно все равно, что происходит в комнатке, что она лишена сейчас любых ощущений, напоминая мерзлую рыбку, вытащенную из ванны со льдом и брошенную на прилавок на всеобщее обозрение.

Нет, она врала себе. Ее мысли снова возвращались к Кирову, но не к тому, кого она увидела в примерной на диване. А чуть раньше - к его улыбке, его взгляду, его разгоряченности. Она невольно посмотрела на мужа. И снова убоялась, даже сжалась. Сравнение было не в пользу мужа. Ни к чему хорошему это неб приведет, впрочем, уже не привело, обречено подумала она и вздохнула.

- Чего ты? – муж стоял посреди комнаты, уперевшись руками в бока. Это было комично, при его огромных руках и тщедушной фигурке, но ему самому казалось, что такая поза придает ему солидности и строгости.

- Уже поздно, Леня. Марксу пора спать, - Мильда тяжело поднялась.

Николаев раздраженно засопел:

- Мы еще хотели написать страничку моей автобиографии.

- Завтра допишете. Маркс – иди ко мне.

Маркс, разудыбавшись, выскочил из-за стола и бросился к ней. Она повела его к кровати и стала убаюкивать.

- Мамочка, ты меня любишь? – шептал засыпающим голосом сын.

- Конечно, мой дорогой, - она нежно поцеловала его, к ее горлу подкатил налитой почти свинцовый комок. Она чуть не задохнулась, по ее щеке скатилась слеза.

Николаев смотрел на нее, все больше мрачней. Ему были совершенно безразличны любые переживания Мильды, если они не казались его. Живя в своем выстроенном мире, в котором он отводил себе разумющееся первое место и считая, что этот мир, рано или поздно, станет такой же разумющейся составной частью мира реального, признавшего и поощрившего права его, Николаевского мира, на существование и почитание, он болезненно воспринимал невнимание только к своей персоне. Пусть Мильда устала, пусть у нее какие-то неурядицы на работе, он это заметил по ее отчего-то расстроенному лицу, но это еще не значит, чтобы она отмахивалась от его идей и задумок. Ведь он все это делает не только ради себя, но и ради нее, и она обязана это знать и оценить.

Потому недовольный поведением жены, он лег спать и отвернулся к стенке. Пусть знает, что он обиделся

И Мильда была благодарна своему драгоценному Леониду Николаеву, что он не изводил ее своими очередными прожеками и не лез сегодня в ее душу, где и без его вмешательства царил полный бедлам.

Мильда Драуле вышла замуж за Леонида Николаева как-то само собой, по некоему наитию, нежели чувству.

Молодой, вспыльчивый, стесняющийся своей мужской неразвитости и некрасивости и в то же время прячущий эти недостатки, как за защитным бастионом, за непомерным высокомерием и агрессивностью, Леонид в сущности был неплохим малым, если копнуть в нем поглубже. Любительниц покопаться как-то не находилось, ибо Леонид предвидя возможный отказ в своих лучших чувствах, заранее настраивался на то, что этим обижен будет не он, а дама. И оттого изначально, если у него случались знакомства, вел себя ершисто, грубовато, как бы давая понять – уйдете, и черт с вами, плакать не стану. Ему казалось, что женщины сперва придиричиво изучают его худосочную фигуру, на которой совсем неказисто расположилась большая голова, а уж потом, если не дуры окончательно, обращают внимание на мозги. Первым, то есть, внешним сложением и обликом, хвастаться, в общем, было нечем. А вот что касается мозгов, то Леонид на этот счет считал себя очень даже интересной, хотя пока не понятой и не оцененной личностью. Легко возбуждающийся любыми идеями, он мгновенно развивал из в своем воображении, доводя до логического конца, как ему представлялось. Но его не понимали, и ход его рассуждений и тот самый логический конец отчего-то высмеивали и называли химерой и бредом. Но Леонид не зря много читал о великих людях прошлого и знал, как смеялась тупая толпа над ними, ибо не доросла до того уровня сознания, что осмеиваемый гений. Он знал историю травли Сократа, кончившейся чашкой цикуты, и историю травли Галилея, кончившейся костром. И себя, порой, он представлял с чашкой или на поджигаемой связке дров, и его глаза увлажнялись. Он презирал толпу и истово верил в свое предназначение. И это предназначение было связано не с искусством или литературой, а с проектами развития советского общества, которое строило коммунистическое будущее. И Леонид Николаев со всей искренностью хотел помочь в этом строительстве своими проектами, которые пусть даже после его смерти, но будут оценены партией и народом. Впрочем, ему хотелось, чтобы все же оценили и заметили при жизни.

С Мильдой Драуле, старше его на несколько лет, они познакомились на каком-то собрании, после которого местные поэты читали зажигательные стихи о революции. Его обычная ершистая натура в поведении с женщинами как-то увяла от того, что Драуле не разглядывала и не изучала его, а просто, стоя рядом, повернулась и сказала:

- Правда, хорошие стихи?

И в ее серых глазах светились теплота и доверие, и он не успел включить защитный механизм ершистости. По большому счету Николаев не любил

поэтов и их стихи, хотя бы потому, что эти нахалы лезли на трибуну, получая уже этим незаслуженную славу.

Услышав восторженный тихий голос незнакомки, он растерялся, а взглянув в ее сумеречные мечтательные глаза, покраснел и соврал:

- Правда.

После того, как все окончилось, он проводил ее. Он был неуклюжим и рассеянным, бормотал что-то о своем месте в истории и на планете. Но получалось плохо, а она не смеялась над ним, слушала и молчала. На прощание сказала:

- Какой вы необычный, Леонид, право...

Она стала первой, кто его оценил. Необычность его натуры! – это было так верно и так здорово, что он очаровался ею мгновенно, и все защитные клапана смело в один миг. Он понял, что этот человек поймет его и будет верным ему спутником в этой жизни. И с неожиданной пылкостью он предложил ей свою руку и сердце. И даже тут она не засмеялась, не стала жеманиться и кокетничать, просто ответила:

- Вот так... В самом деле вы необычный...

Влюблена ли была она в своего мужа когда-нибудь по-настоящему? Раньше ей казалось, что да. После того памятного собрания, когда случайно, под давлением эмоций, переполнявших ее, она повернулась к ближайшему соседу, и им оказался (могла ли она тогда подумать об этом) ее будущий муж, они встречались не раз, хотя в тот же вечер он предложил ей стать его женой. Ей был симпатичен этот нескладный, низкорослый и тщедушный парень с длинными руками, который явно хотел быть непохожим на всех. Он так мило стеснялся ее, так глупо ухаживал за ней, что стало быстро понятно, у него никого еще не было. Он напоминал ей ребенка, очутившегося по недоразумению в мире взрослых. Она слушала его забавные проекты по переустройству государства и системы управления, и мало разбираясь в этом, завораживалась от его убежденности и веры, которым он буквально дышал, преображаясь в оракула. С ним было интересно, и во всяком случае, лучше, чем прозябать в снимаемой комнатенке огромной воняющей коммуналки на Выборгской стороне, слушая свары вечно брызжащих соседок, перемывающих косточки всем, кому не лень, включая и постоянницу с нерусской фамилией. К тому же не за горами маячило три десятка жизни, и надеяться на сказочного принца в буденовке, да и вообще на мужскую опору становилось все труднее, а за пугающей любую женщину цифрой 30, уже брезжило лютное бабье одиночество..

И она решилась. Она вышла замуж за Леонида, полагая, что все-таки влюбилась в него и перебравшись на Лиговку, в другую коммуналку, но уже на свою, семейную жилплощадь. А вскоре родился сын, которого неугомонный муж назвал странным именем – Маркс, и это была первая серьезная их размолвка. Ее впервые покоробили неуступчивость и заикленность мужа, которые она как-то не замечала раньше или не придавала этому значения. Он, словно одержимый, отстаивал свое, что считал важным, и переубедить его она не могла. Впрочем, первое место в ее

жизни отныне занимал Маркс (она смирилась с этим именем), а жить с Леонидом она уже свыклась. Началась будничная жизнь, домашние и рабочие хлопоты, когда некогда задумываться над своими чувствами. И лаская его иногда ночами после очередной ссоры, она даже не задумывалась, что это происходит от жалости к этому колючему и беззащитному романтику, а не от любви. Кроме такой вот жалости, у нее к мужу была и привязанность благодарной женщины, которая любима. Она чувствовала, что она любима, пусть и не так, как это могло бы быть в ее мечтаниях, но все же, все же...

В устоявшейся привычной жизни ее, в принципе, все устраивало, устраивало до тех пор, пока вихрем, ураганом, штормом, сам того не желая, в ее душу, а затем и в сердце ворвался человек, смявший ее, бросивший наземь, сокрушивший все выстроенное ею размеренное и спокойное существование, и даже не заметивший этого.

Ни она, ни тот самый человек, были, в общем-то, схожи в своих судьбах в одном. В их насыщенной и не очень жизни не было, не появлялось настоящего чувства, а то, что они считали за настоящее чувство, было лишь заблуждением, вызванным стечением обстоятельств и превратно понятым как чувство. И безжалостная судьба не оставила такой порядок вещей без внимания. Требовалось лишь время, ситуация, звездный взрыв, роковое совпадение встречи не изведавших настоящего чувства людей, чтобы оно недоступною для двуногих, возомнивших себя царями природы и жизни, недоступною им высшей волей, пришло к ним, связав их воедино и намертво, во зло ли во благо.

Но!

Именно так и случаются самые великие подвиги.

Именно так и случаются самые великие трагедии.

Но!

В любом случае обязательны жертвы.

Глава 4

Странно все это случилось. В какой миг, в какой день, в какой обстановке столкнулись судьбы всесильного первого секретаря обкома большевистской партии, любимца масс, верного последователя и идеолога марксизма-ленинизма и обычной, ничем, в общем-то, не примечательной официантки Смольного?

Именно столкнулись, а не встретились. Встреч доселе было две, но лишь одна из сторон этих встреч вынесла из них обжигающие впечатления. Для другой стороны это являлось обыденными забывающимися эпизодами.

Когда же и как произошло столкновение судеб? Или все росло постепенно, как строится за камешком камешек дом?

Впрочем, столкновение – не всегда лоб в лоб. Порой это совместное вдавливание друг в друга на протяжении дней, месяцев, лет. Но высшие силы этой планеты не отвели им долгий срок ни любви, ни жизни, и, словно, предчувствуя это, их совместное притяжение, начавшись исподволь, развивалось постепенно, но стремительно – всего несколько недель, прежде чем они почувствовали оба, что обрели в себе удивительное непокойное грешное желание – видеть, чувствовать, быть рядом... И если они отмахивались от названия этого желания, все одно оно властно и тягуче вторглось и располагалось в их сердцах, как бы давая понять, - не имеет значения, что вы пугаетесь назвать меня правильно, это все равно ничего не изменит, ибо я уже тут, и убрать меня каждому из вас обойдется немалой кровью ваших душ.

Привычный накаленный разными делами рабочий ритм первого секретаря Ленинградского обкома партии внешне не изменился. Партхозактивы, совещания, заседания, митинги, инспекции, проверки. разносы, документы, встречи, командировки, чистки рядов от нежелательных элементов, - все это ежедневно входило в обязанности Кирова, напоминая какой-то замкнутый беличий бег внутри колеса. Правда, ему это не представлялось колесом, а напротив, широкой торной дорогой, следуя по которой к светлому будущему, он убирает с пути гнилое, ненужное, вредное, расчищая залежи завалы и мусор в городском хозяйстве и в людских головах, цементируя этот путь немеркнущими идеалами коммунизма и перестройкой на советский стиль колыбели трех революций – пролетарского Ленинграда.

Вместе с тем, он чаще стал обедать в смольнинской столовой, не давая себе отчета, что же туда влекло его в самом деле.

Он не признавался себе, что из головы так и не выветрился тот смешной эпизод в гримерной Мариинки, когда робкая и отчаянная официантка зажгла в нем некий фитилек, и этот фитилек упорно не желал гаснуть. Его подмывало увидеть ее снова и насладиться ее реакцией – стыда там, испуга, или еще чего-то подобного, увидеть ее краснеющее лицо с теми же серыми большими глазами, а может быть в них заметить и ту, возможно еще и оставшуюся затаенную частицу той манящей боли, что он тогда заметил в этих глазах? И тогда он ее успокоит ласковым словом, взглядом, жестом. Впрочем, как он это будет делать, и как это будет выглядеть при посторонних Киров не задумывался. Он уже обманывал себя, обманывал тем, что всего лишь хочет успокоить девушку, наверняка, переживающую до сих пор свою выходку. На самом же деле ему просто хотелось ее увидеть. И это была первая искорка, от ого фитилька, который вспыхнул там, в Мариинском театре. Но скажи кто-нибудь об этом ему, Кирову, он бы высмеял и отчитал такого провидца. Впрочем, провидца не было, а в провидения он не верил.

Однако ему отчего-то не везло. Удивительно, но когда он приходил (сам ли, с Чудовым ли, то ли с недавно назначенным самим Сталиным в помощь ему по идеологической линии секретарем обкома – Ждановым) в столовую,

вызывая обильный пот у начстоловой, эта официантка не попадалась ему на глаза никоим образом. К досаде Кирова начстоловой маячил перед ним, как репей. Удивляло и раздражало Кирова и то, что он сам (это он – то!) почему-то не хотел расспрашивать Маргелыча об этой официантке. И дело было в некой внезапной стеснительности, что его сразу заподозрят в некой симпатии к этой девушке, хотя отчасти это тоже было правдой, Киров вдруг ощущал что начинает сам краснеть как только вопрос о ней хотел сорваться с его языка, тому и умолкал, комкая вопрос на другую тему. Дело было и в том, что он вдруг забоялся услышать ответ, что она уволена или уволилась, в общем – ее здесь больше нет.

Как-то раз, сходя в столовую, не солоно хлебавши, в том смысле, что занозистая официантка снова не попала ему на глаза, и вернувшись в кабинет, он плюхнулся прямо на стол и стукнул по нему кулаком, выругавшись в сердцах:

- Черт его знает что такое!

Поостыв, он вскочил со стола, подошел к большому окну с видом на Неву, распахнул его, несмотря на то, что дул от реки сильный прохладный ветер, оперся на подоконник и прошептал:

- Зацепила меня, что ли, эта стерва? Что я как пацан бегаю за миражами... А, Серега? Тебе что баб в жизни не хватает?

Он усмехнулся, решительно махнул рукой и молодецкой энергичной походкой направился снова к столу и вызвал секретаря с документами.

Секретарь, молодой безликий человек, с угадывающейся военной выправкой оказался в кабинете тотчас, но Кирову показалось, что тот долго медлил. Вообще-то он равнодушно относился к своему секретарю, хотя и знал, что тот поставлен сюда Медведем. Медведь и не скрывал, что это – его человек, и когда-то они согласовали этот вопрос, ибо Кирову было наплевать, кто сидит у него в приемной, лишь бы порядок был. Впрочем, он считал, что секретарствовать – это не мужское дело, но не придавал этому большого значения.

Сейчас же его внезапно охватила вспышка гнева.

- Что ты там тащишься как пьяный башмачник. У меня времени категорически нет.

Секретарь молча потупился, передавая Кирову бумаги на подпись.

- Так, это что? – Киров брал очередную бумагу и пытался в нее вчитываться. - А, черт, как коряво написано, не пойму чего они хотят. Кто принес эту финтифлюшку. Какой отдел она проходила? А? Ну что ты ни мычишь, не телишься!

Киров бросил бумагу на стол. Глянул в неподвижного секретаря и почему-то со злобой подумал – на фронт бы тебя или на пахоту, зажирел ты тут парень на бабьей работе.

- Ладно, оставь, приеду, разберусь. Ступай.

Секретарь кивнул и бесшумно пошел к двери. Киров тяжело наблюдал за его походкой, и когда тот, уже коснувшись рукой двери, выкрикнул:

- Слушай, Максим, тебе не надоело вот тут у меня в холуях, черт возьми, служить, а ?

- У каждого свои обязанности, - ответил тот таким же безликим, как и его вид, голосом. – А что, Сергей Миронович?

- Да так, ничего. Иди, - примирительно буркнул Киров.

Чего он так разошелся? Какая шлея ему под хвост попала? Неужели его расстроила небрежно или неграмотно написанная бумажка? Да когда он злился по такому ничтожному поводу? Нет, не то. Не то он ищет в себе. Его гнев имел конкретную причину, вылившись на случайного человека. И причина эта в этой клятвой, играющей с ним в прятки, девке.

Киров не знал, что Драуле заранее старалась исчезнуть из столовой, как только здесь становилось известно, что Сам изволит идти откусать. Об этом начальника столовой Маргелыча предупреждал секретарь Кирова, и в столовой начиналась напряженная суэта – все подчищалось, подновлялось, смахивалось с неубранных столов, подметалось и подхорашивалось. Драуле, быстро выполнив свою работу, шла добровольно в моечную помогать мыть грязную посуду. Обслуживающего персонала в столовой хватало и без нее, тем более, что начстоловой сам превращался на час трапезы Кирова в официанта и халдея. И Бог его еще знает в кого. А мойщиц посуды не хватало. Потому услуги Драуле принимались.

Она до покалывания в пятках боялась увидеть Кирова. Боялась его как сурового начальника, который, увидев ее снова, попросту растопчет ее за ее поведение в гримерной театра, и Маргелыч, пожимая плечами, как маленькое подчиненное лицо, тут же заставит ее писать заявление по собственному желанию. Боялась его насмешливого презрительного взгляда, который может заменить выволочку, и в этом взгляде она будет похоронена как женщина и работник. Боялась его слов и поступков, которые Кирову были легки и не воспринимались им самим, как она уверилась, всерьез, и которые могли этой легкостью, ошибочно принимавшуюся ею за истинное расположение и внимание, могли разворошить старательно затянутую рану. Она уже и так все обдумала и проанализировала. Принимать будничную вежливость, формальные знаки внимания такого великого человека за нечто большее, способна только дура вроде нее. В самом деле – учтивость, и не больше с его стороны в первую их встречу, милая шутка в виде приглашения в Маринку, которую можно рассматривать как его поощрительное извинение за разбитую посуду, когда он случайно ее толкнул в столовой... То есть все обыкновенно и обычно, это лишь она возомнила что-то, увидела в этой разумеющейся логической обыденности поведения великого человека нечто особенное для себя. За это и поплатилась. Да, она поддалась магии обаяния, какой обладает этот необыкновенный, демонический человек, но он и есть таков! А она то – кто? Поэтому надо и воспринимать вещи такими как они есть, а не надуманными.

Она боялась, что очередной формальный знак внимания (если, конечно, он не отругает ее за бестактное появление в той клятвой гримерке) с его стороны опять приведет ее к ошибочным выводам, вызовет в ней

болезненное желание верить, что она ему в чем-то нравится, что он выделяет ее из прочих. И это глупое женское наивное желание способно опять провести новую рваную борозду в ее трепещущей душе. Душе, ждущей этого. И она затыкала этот порыв души всевозможными уловками, вроде бегства в мойку и убеждая себя в том, что смешно вообще думать о Кирове нечто иное, нежели, как о кумире миллионов советских людей. Кумир он и есть кумир, и к этому нужно относиться как к естественному и должно определенному порядку вещей. Даже если этот кумир и обжег тебя походя крепким, влекущим и властным мужским дыханием. Все равно – смириться и больше ни за что не поддаваться под эти разрушительные чары. Чары, способные погубить ее.

Не исключено, что если бы Киров встретил ее, Мильду Драуле, на следующий после событий в Мариинском театре день, поохотал бы над ее сбивчивыми извинениями и даже пригласил бы куда погулять, побыть наедине, а потом галантно расстался, то все могло бы окончиться, по сути и не начавшись. Как очередное увлечение, как очередная победа этой страстной незаурядной личности, отвыкшей встречать отпор или отказ в своих прихотях и желаниях.

Но все пошло по другой колее. Официантка, изумившая его своим смелым поступком, поступком, свойственным далеко не всем женщинам, даже больше – очень немногим женщинам, более того, таким, каких он еще не встречал, действительно заинтересовала его. И если он забыл о первой встрече с ней, припомнив только во время второй, в столовой, когда толкнул ее, и после, когда, прикомандировав ее к штатной обслуге в театре, опять же запомнил о ней из-за обилия дел, гостей, выпивки, то... То теперь он ясно и отчетливо вспомнил все встречи с ней, и отчего-то находил в этих встречах некую изюминку, которая распалая его воображение и требовала выхода. Но – эта строптивая официантка, судя по всему, явно избегала его. Он уже выведал, что из смольнинской столовой за последнее время никто не увольнялся, наоборот количество желающих попасть туда на работу было огромным. Значит, она, просто-напросто скрывалась от него. И если рассудок давал этому разумное объяснение – скрывается, ибо боится, что он ее отчехвостит за тот проступок, то сердце почему-то давало иное объяснение – скрывается, ибо он ей неприятен.

И в этом двоеборстве сердца и рассудка побеждало сердце. И ему становилось неприятно и не по себе. Он ни с того ни с сего начинал злиться, особенно, когда не видел эту вредную официантку, когда приходил обедать в столовую, чем уже довел начстоловой до икоты и до горделивого сознания значимости его заведения в расписании графика самого Кирова.

Он пытался выбросить всю эту ерунду, как нечто надуманное и не важное из головы, Но, видимо, так устроены человеческие головы, что зачастую наиболее цепко держат в себе то, от чего с превеликим усердием пытаешься избавиться. И чем усерднее приказываешь себе выбросить, забыть, избавиться, тем похвальнее против нас работают память и сознание.

Нельзя сказать, что отныне все помыслы Кирова были связаны с неуловимой официанткой. Как человек государственной масштаба он не имел права поддаваться какому-то неосознанному желанию в ущерб делам. Нет, дела он вершил, как обычно, споро, решительно, жестко. Как и раньше, он жил и горел работой. Но в этом плотнейшем режиме уже наметилась трещинка, которая давала о себе знать в те минуты, когда возникала пауза между делами, и он неосознанно ловил себя на мысли о том, что наведается сегодня в столовую обязательно.

Однажды этим он очень удивил своего приятеля Филиппа Медведя, у которого был на чекистском совещании, после которого Медведь приготовил приличный стол для немногих, и когда Киров отказался, сославшись на занятость и предпочел чекистскому столу свой в смольнинской столовой, то очень огорчил друга.

Неведение относительно заинтриговавшей его официантки, ее скрытность, ее нежелание показываться ему на глаза делали ее во мнении Кирова загадочной, и уже поэтому интересной и необычной женщиной. То, что она противится их встрече, было для него ясно, и что это сопротивление вызвано ее неприятием персоны Кирова, как это он себе доказывал, вызывало в нем и негодование к ней, и удивление ею, ибо он не привык к тому, что от него сознательно и демонстративно бегали или игнорировали его женщины. В данном случае это было налицо, и воспаляло самолюбие, заодно, опять же, подогревая интерес к этой, явно, как он уже полагал, самобытной и не простой женщине.

Пропустить эту женщину, отпустить ее с миром, забыть о ней теперь он уже не хотел. Он должен был разобраться с этим сумасбродным явлением, заставившим его, самого Кирова, почувствовать себя пристыженным школяром, заставившим уделять ему, Кирову, какой-то женщине столько мыслей, заставившим его, негодовать, раздражаться, досадовать лишь из-за того, что это явление было недоступно для него. Как человек, привыкший волею своей брать все, он вдруг получил по рукам, ему сказали – нельзя. Его поставили в угол. Его просто унизили. И кто – какая-то официантка!

В самом деле все это было смешно и глупо, но смеяться как-то не хотелось. Натура Кирова не любила неопределенностей, он всегда не развязывал узлы, а рубил их, потому и стал тем, кем стал. В этом же случае все было настолько неопределенно, насколько и глупо, и самое пакостное заключалось в том, что разрубить вяжущийся узел он не мог – а что рубить-то? Да и не очень хотел – какие есть поводы к такой рубке, чем он будет аргументировать. Ведь она же не навязывается к нему, а наоборот – избегает его. Так что – вызвать и приказать: не скрывайтесь от меня? Тогда она еще больше станет его презирать. Да и не из таковских он, чтобы использовать свое положение и власть для разборки с женщиной. В таком случае он и сам себя презирать начнет...

Время шло, и каждый день, казалось, отдалял их друг от друга: она пыталась запорошить забвением все то, что выдумала в своем воображении о нем. Он тщетно ругал себя за несвойственную ему жажду встречи со

странной женщиной и все больше думал о ней, также пытаясь решительно вытрясти весь этот отвлекающий сор из себя. Но именно время и сближало их, заставляя их мысли все чаще переплетаться в неопределенных раздумьях друг о друге, и в этих раздумьях каждый из них все более казался необыкновенным, интересным и желанным. Так недостижимое привлекает куда больше, нежели осязаемое, особенно если это недостижимое невесть как и почему вдруг коснулось тебя своим крылом и улетело снова прочь.

И становилось также совершенно ясно, что роковая и ожидаемая встреча где-то уже в пути.

В тот заканчивавшийся день шел мелкий колючий дождь, который точно таежный гнус, нудно щипал лицо и норовил попасть в незащищенные места. Окна покрылись разводами снующих вниз капель. Вечерний сумрак, казалось, наступил из-за ненастной погоды еще раньше, накрыв город серым рваным плащом, из прорех коего сочилась наземь морось. Тем уютнее и теплее светил свет квартир, умилял запах жарящейся колбасы и яиц, и убаюкивала мелкая радость, что в этакую промозглость не нужно топтать по делам на улицу.

Киров недовольно посмотрел на шелушащееся мокротой стекло окна, похожее на заплесневелую скорлупу, прошел в прихожую, подумал, глядя на вешалку, и выбрал любимый кожаный плащ.

Мария Львовна стояла рядом у стены и наблюдала за ним. Аккуратно зачесанные назад и стянутые в тугий узел волосы, придавали ей вид строгой школьной учительницы.

Киров кивнул на окно:

- Вот те и зима, еще пару дней и от снега одни лужи, грязь да воспоминания останутся.

Но, судя по бесстрастному лицу жены, погоду она обсуждать не собиралась.

- И когда ты успокоишься, Сережа, - тихо и грустно сказала она.

Киров не понял или сделал МИД что не понял ни ее слов, ни ее тона. Он улыбнулся и деланно бодро отчеканил:

- Покой нам только снится, Маша. Дела, дела. Ты ложись, я сегодня поздно вернусь.

Он, наконец, натянул плащ, обулся и повернулся к двери. Мария Львовна вздохнула и, поглядев на потолок, прошептала:

- Ну да. Опять коньяком да чужими духами пахнуть будешь.

В чем-то, возможно, она была и права, но Сергей Миронович в этот раз обиделся. Обиделся потому, что как раз нынче он ехал на работу – курьер, галопом настигший его у дома, сообщил о приезде московских гостей из Наркомзема. Киров их ждал на следующей неделе, но те прикатили раньше, и вопрос решался очень важный – о закреплении границ города и области, а с этим мешкать первый секретарь обкома не хотел. И тут – такое обвинение. Он не хотел спорить, что-либо доказывать, тем более, что порой, как он

считал, его поведение и отношения с женой не всегда на должной высоте, но все это поправимо. Но не в этот раз.

- Маша! Я на ра-бо-ту. Такая моя доля. – жестко ответил он..

Мария Львовна будто и ждала этих слов. Она подошла к нему, сложив ладони на груди, и с придыханием так же тихо спросила, глядя ему в глаза, и заискивающе, и обреченно:

-Твоя доля... А моя?

Но мужу было недосуг выяснять то, чего он не любил. Конечно, если заняться особенно нечем и слоняться по квартире изо дня в день, какой только ерунды в голову не придет. Но ему выслушивать всю эту бабью чепуху не хочется. Тем более, он едет не по кабакам шляться и по девкам, а на работу.

- Прекрати, Маша, - тоже тихо и властно сказал Киров. -. Ты же знаешь, что я люблю тебя. Ну, пока...

Он поцеловал ее в щеку, не страстно, скорее, по привычке, повернулся и вышел вон. Дверь захлопнулась. Мария Львовна машинально проверила, закрылась ли дверь, зябко пожала плечами и медленно пошла в комнаты.

К семи вечера он был в Смольном. Разговор с москвичами получился дельным и скорым, да и что им – не свою московскую землю граничили, да и с самим Кировым не резон было тягаться в мало что значащих вопросах. Чудову, присутствовавшему тут же, было дано соответствующее указание – помочь, проконтролировать, решить вопрос.

Тягостное настроение, с которым он вышел из квартиры, развеялось. Удачная беседа с наркомзельцами и ожидаемое решение одной из бесчисленных хозяйственных проблем, вернули Кирову обычное приподнятое настроение.

Он решил, что сейчас приедет домой, обязательно возьмет с собой Машу куда-нибудь. В театр уже поздновато, да и не хочется – там сразу переполох начнется из-за его явления. В ресторан тоже не тянуло, уставятся все рожи на них, как на апостолов... М-да, обратная сторона медали собственной славы. Поехать за город на дачу, погода, как говорят летчики, нелетная... Впрочем, все эти пронесшиеся в его голове мысли, не ввергли его в уныние. Ну, разумеется, он возьмет бутылку шампанского и коньяка, впрочем, это добро есть и в доме. Нет, конечно же, он купит цветы, и они просто вдвоем мирно поужинают...

С этим окончательным решением Киров шел по опустевшим коридорам Смольного, ломая голову – где добыть цветы. Впрочем, зачем ломать – он спустится вниз к охране и попросит – те мигом достанут. Конечно, он мог бы просто позвонить по телефону, и охрана в любом случае вылезла бы из собственной кожи, чтобы выполнить любой наказ патрона, но Киров не любил по телефону отдавать указания, носящие личный характер. Он полагал, что когда человека попросишь о чем-то своем, он быстрее расшибется в лепешку и сделает, потому что его попросили лично, как

человека, а не как быдло послали исполнять приватные поручения телефонным звонком.

(Кстати, и за это качество Кирова тоже любили, усматривая в этом его простоту обращения с обыкновенными людьми. И в самом деле, осененный личным обращением и вниманием самого Кирова, о котором не умолкая говорят по радио и пишут газеты, слова которого учат наизусть в школах и цитируют на митингах, да когда этот живой Бог, живая легенда лично тебя доверительно просит о такой безделице, как букет цветов, так ты готов притащить клумбу в зубах ему, пребывая в трансе почтения, восхищения и благоговения от своей полезности Ему! И насколько Киров не придавал таким мелочам значения, считая их разумеющимися и обыденными, настолько окружающие его считали это все благодарными знаками внимания и завидовали тем, кто такой чести удостоился).

Отдав распоряжение, он решил тут же и подождать, а не подниматься наверх снова и там пройти к другому выходу – так называемому служебному выходу, который вел к черной лестнице и наружному выходу из боковой стены Смольного, незаметному для посторонних глаз. Этим выходом Киров пользовался часто, когда не хотел, чтобы его кто видел и чтобы не мозолить лишний раз глаза. Ключи от этого входа были только у него. Никто, кроме Кирова, не смел пользоваться этим служебным входом/выходом, да и знать о существовании такого входа обычному персоналу Смольного не полагалось. И если кто невзначай мог бы поинтересоваться этим на свою голову, таким бы сразу заинтересовалась охрана Смольного, лично подобранная и утвержденная Филиппом Медведем, главой самого страшного ведомства в Ленинграде и личного друга Кирова.

Киров стоял в просторном вестибюле, заложив руки за спину и меланхолично рассматривал огромное красное знамя с вышитыми золотом в верхнем левом углу серпом и молотом, установленное у стенки, рядом с колоннами так, что любой проходящий в Смольный, сразу обращал на него внимание.

Он ни о чем не думал, он уже здорово устал за этот день. И ему в самом деле хотелось домой, поужинать с Машей, и рухнуть в постель, как израненному солдату.

По ступенькам, спускаясь вниз, к вестибюлю, зацокали мелко и часто, каблуки. Киров невольно обернулся на звук, и краска прихлынула к его лицу.

На пару ступенек выше его с таким застывшим, но не красным, а бледным, словно из асбеста вылепленным лицом, стояла Мильда Драуле.

В этот вечер она задержалась на работе, потому что Фаиночка доверительно ей шепнула, что для их смены Маргелыч приготовил подарок, все что останется из съестного за день, можно взять с собой. Мол, кончается год, а излишков продуктов накапливается, ибо не все обитатели Смольного дисциплинированно питаются в своей ведомственной столовой. У Фаиночки на этот счет было свое мнение – скорее всего, надо ждать какой-то комиссии, которая будет обсчитывать хозяйство Маргелыча, как это и бывает к концу

года, вот он такой добренький и становится – самому все не вынести, так поневоле делится с подчиненными.

Мильде было наплевать на причины, которые побудили начстоловой расщедриться на даровые сытные объедки и обрезки, но она с удовольствием задержалась по такому случаю, чтобы побаловать семью вкуснотищами.

И вот, навьюченная сумками, из которых пробивались аппетитные ароматы, она, совсем уже выкинувшая из головы всякие глупости, стояла, как вкопанная, посреди пустого вестибюля, и прямо перед нею стоял Киров. Стоял он. Он!

Неожиданность, случайность этой встречи парализовала ее, ее сознание и волю. Она почувствовала только стыд, оттого что попалась Ему с этими сумками сворованной (как ей казалось) еды, и он уже все понял, и окончательно станет презирать ее.

Киров и сам ощущал себя, словно мгновенно стянутым жгутами. Сердце его заколотилось, точь-в-точь как у охотника, уже потерявшего всякую надежду, но на пути домой встретившего выслеживаемого зверя.

Они оба растерялись, и не знали что предпринять. Хорошо, что никого рядом не было, не считая сидевшего в будке поодаль охранника.

Она в своей растерянности была не хуже, чем в том отчаянии в примерке, которое так врезалось ему в память. Серые расширившиеся от изумления или испуга глаза влекли к себе бездонностью и тут же как бы предупреждали и молили - не трогай меня, не губи. Безвольно опустившиеся плечи придавали ей трогательный вид обиженной школьницы, и хотелось обнять ее и успокоить.

Она не смотрела на него, боясь его слов и жестов. И время уже не тянулось, оно остановилось.

Хлопнула входная дверь – это вернулся охранник с цветами. Киров очнулся первым. Еще минуту назад он не думал о ней, теперь же он не хочет снова таскаться в столовую, чтобы искать ее. Он не будет больше охотиться, он будет владеть добычей. Это его право – право мужчины. Только бы она не исчезала...

И совсем не ожидая от себя, он внезапно, повинувшись наитию, повинувшись мигу нежданной встречи и опасаясь, что если он проворонит этот миг, то больше уже не увидит ее, своим властным звонким голосом, в который отчего-то вкралась некая хрипотца, сказал, чтобы она слышала:

- Завтра в час дня у левого угла Смольного, моя машина. Едем в Павловск. Возражения не принимаются.

Он круто повернулся, чтобы не прочесть в ее губах нет, спешно пошел прочь, чтобы не услышать ее отказа, схватил цветы у вытянувшегося охранника, поблагодарил его и, чувствуя на себе ее взгляд (он не знал, что выражает этот взгляд, но ощущал его каждой клеткой тела), вышел на площадь.

Дождь уже перестал. Задул северный ветер.

- Будет холодать, - сказал он сам себе.

В машине, по дороге домой, осторожно прижимая цветы к плащу, он все думал о серых глазах.

И ему было невдомек, почему он ляпнул о Павловске. Это было просто первое место, что ему пришло на ум. И ему было невдомек, кто же отпустит ее с работы в разгар рабочего дня. Свой график его не волновал, ему не перед кем отчитываться здесь, где он и что делает. И ему было невдомек, что его слова обрушили всю ее защиту от него, мгновенно и безжалостно, околдовали ее дух и сердце осознанием собственной обреченности и надежды – ОН ей предложил свидание! И сейчас там, позади, трясясь от рыданий, она медленно бредет к своей вдруг ставшей холодной коммуналке на Лиговке, не понимая, что случилось с белым светом и с ней самой.

И ей отчетливо стало ясно, словно кто включил яркий свет в душе, что она предчувствовала это, что верила в то, что он найдет ее, что боялась этого и ждала этого, и, главное, знала, знала, знала, что если так и произойдет, то она бросится в это черное озеро грешного чувства безоглядно, не щадя ни себя, ни его.

Или ей лишь казалось, что она это предчувствовала? Она не искала ответа. Пока очевидно одно – завтра, полдень, Павловск, он...

Ее душили слезы и проясняли ее, наполняя сладкой и загадочной истомой неведомого грядущего, которое начнет свой отсчет с завтрашнего полудня. Ей было жаль себя и в то же время все сильнее ее завладевало бесшабашное пьяное состояние ликования. А почему и нет? Почему, с какой стати и кто может отказать ей в кусочке настоящего земного счастья. Женского, запретного, оттого и более жгучего и желаемого счастья...

Она никому не отдаст этого счастья, она вцепится в него зубами и она познает его, и никто об этом никогда не узнает. Ни одна живая душа. Так ей думалось. И потому ей хотелось рыдать от случившегося, и ей хотелось петь и танцевать. Ее душа и томилась, и ликовала.

Сам Киров был далек от подобных чувств, хотя Мария Львовна во время их совместного ужина на двоих, польщенная букетом цветов и растроганная необычным вниманием и давно не знаемыми ухаживаниями Кирова не могла не заметить некое его возбуждение, не понимая чему это приписывать. Самого же Кирова будоражило завтрашнее, он не мог и не хотел объяснять себе, почему от встречи в вестибюле Смольного ему очень хорошо и легко на душе. Во всяком случае, это было так – легко и хорошо.

Пустынный Павловский парк, закрытый для посетителей в это время года, - разумеется подобный запрет вовсе не относился к первому секретарю обкома ВКП (б), - проходил на волшебную зимнюю сказку. Кратковременная оттепель не коснулась его заснеженных равнин и холмов, вековые сосны, ели осины, пихты красовались великолепными белыми одеяниями, искрясь на декабрьском солнце, будто унизанные мириадами крохотных елочных украшений.

Никем не тревожимые белки сновали от дерева к дереву, заматаывая рыжими хвостиками следы, удивлено поглядывая озорными жадными

глазенками на странных людей, рискнувших нарушить мировой покой этого заповедника.

Сотни гектаров первозданной природы, уцелевшей от человеческого нашествия, погребенные под пластами снега, внушали трепет и восторг. Поистине – настоящее белое безмолвие, где понимаешь цену собственной участи на этой земле, которой ни к чему людские стремления, чаяния и деяния. Этот парк видел немало трагедий и побед, и был равнодушен к ним в неумолимой первозданности истины. Он излучал эту истину – истину торжества вечности над всеми теориями и помыслами двуногих, которые всего-то лишь временщики на этом свете.

И все же, панорама открывающегося с заснеженного пригорка спуска к заплывшему сизым льдом озерцу, зацепившееся или качающееся в ветвях елей бледное солнце, умопомрачительная белизна и прямо-таки необыкновенная и забытая тишина, которую можно встретить еще лишь в горных отрогах, все это завораживало и притягивало, заставляя радоваться тому, что ты это видишь, осязаешь, и, значит, черт возьми, живешь.

Киров неспешно шел по расчищенной тропинке чуть впереди своей спутницы. У него было отменное настроение, он дурачился и рассказывал ей веселые истории.

Драуле, еще не оправившаяся от смущения и пережитых мгновений, начиная с того, как ополоумевший Маргелыч, икнул, как только она ему без обиняков сказала, что ее вызвал сам Киров, как она, словно в тумане, вышла к машине и ничему не удивляющийся водитель открыл перед ней заднюю дверцу, и она увидела сидевшего тут же Сергея Мироновича, как его задорная улыбка сняла с нее тревоги и волнения, как по дороге сюда, в Павловск, он пытался взять ее руку в свою, и как она несмело сопротивлялась и, наконец, смирилась, отдаваясь теплу и нежности его ладоней... - Драуле шла за ним, слушая и внимая ему, своими большими глазами следя за его фигурой, ужимками, и полностью растворяясь и в Павловском парке, и в этом общении. Она молила, чтобы этот чудный день продолжался как можно больше.

И с каждой новой минутой их прогулки по околдованному искусницей зимой парку, она (пусть и временно) все больше забывала о Кирове, как о большевистском вожде, и все больше видела в нем мужчину, мужчину, который вел уже ее не прогуливаться, а вел по новой жизни. И она пила, пила, пила эту жизнь – стыдливо и жадно, и веря в то, что она пришла, и внушая себе, что это всего лишь сон, а возможно, еще – прихоть, забава, каприз этого человека, и что к этому так и стоит относиться и не принимать всерьез. Во всяком случае, любые ее подруги или знакомые умерли бы от зависти, узнай, где она и с кем сейчас. Но она никому не скажет. Это – ее сказка...

Киров подскочил к толстой ели и со всего маху стукнул по стволу кулаком. Дерево даже не шелохнулось.

Он повернулся к Драуле и мигнул:

- А вот еще такая история, - он отошел от дерева, дую на кулак. – Хороша чертовка! Дюжая! Люблю деревья. Так вот, - история. Рос в саду репейник. А рядом вдруг вымахала красивая астра. Ну и репейник сдуру втюхался в нее. А она не замечает. Как же – красавица! Нос воротит. Тем более – рядом высшее общество – жуки майские, кузнечики, ящерики, лягухи – ква-ква. Какая красивая! Принцесса!

Он говорил громко, ничуть не пугаясь и не стесняясь громкости своего голоса, который, казалось, слышится отовсюду в этой умиротворенной тиши. С дерева спрыгнула белка и помчалась прочь. Забыв о Даруле, Киров махнул за ней прямо по снежной целине, и сразу провалился чуть ли не по пояс. Виновато улыбнувшись, он выставил руку, словно прося о помощи. Даруле, не раздумывая, сиганула следом, и тут же провалилась сама. Киров, как ледокол, медленно ломая снежный наст, двигался к ней, взял за руку и потащил буксиром на тропинку. Выбравшись, они долго отряхивались от снега и беспричинно смеялись. Даруле вдруг стало после этого сигания в снег легко, она знала, что теряет голову, но это было так здорово, завораживающе и необыкновенно, что ей самой хотелось снова и снова прыгать в снег, кричать, петь, стучаться кулачками по дремлющим деревьям. Киров был рядом - обычный земной человек, но магия его притяжения вбирала в себя душу женщины безболезненно и безоглядно.

Она посмотрела на него увлажненными глазами?

- Так что – дальше! Все-таки принцесса полюбила репейник?

Киров, пошедший было вперед, остановился, облокотился ладонью о сосну, свистнул вслед еще одной убегающей белке, и с улыбкой посмотрел на Даруле.

- А вот и нет. Как-то зашли в сад отец с сыном. Сынок увидел астру и – ой, какой цветок, да сорвать его хотел.

- Сорвал?! – испуганно вырвалось у нее.

Он залиvisto захохотал, видя ее искреннее переживание. Его влекла эта ее непосредственность, свойственная тем натурам, которые лишены жеманства, кокетства, игры, и прочих женских ухищрений в своем арсенале, чтобы добиться расположения мужчины. Он видел перед собой взрослую женщину, которая должна уж обладать таковым арсеналом и применять его сообразно обстановке. Но она не ахнула, не вздохнула притворно, не приложила ладошку к губам – ах!, что вы такое говорите...

Такого добра он навидался, и это вызывало в нем изжогу. А вот она, эта латышка, как на ладони – естественна и проста в своих эмоциях и переживаниях. И она не будет бегать за ним, не будет казаться лучше, чем есть, не будет его преследовать и не будет ему мешать. В чем-то она даже схожа с Машей, его женой. Правда, моложе и красивее. Он это отметил. И в ней есть своя гордость – ведь скрывалась от него! Да и в гримерку от отважилась... - эти мысли захлестнули его, как порыв ветра, и он даже не сообразил, что же такое он рассказывал своей спутнице.

Киров опять посмотрел в ее серые глаза.

- Сорвал? – повторила Даруле.

- Погоди, - махнул он рукой. - Вот, видя этаким текущим момент, все высшее общество, поджав хвосты и крылышки – наутек. Все, амба! Некому защитить принцессу. Пацаненок было ручонкой к цветку – хватить, ах, укололся. Репейник изогнулся и уколол пацана – не трожь, вражина, принцессу.

Драуле захлопала в ладоши и запрыгала

- Какой молодец! Настоящий рыцарь! Она должна была теперь в него влюбиться.

Кирову захотелось поймать ее в прыжке и обнять. Обычно такие разумеющиеся и многократно совершаемые им действия происходили непринужденно и не вызвали в нем робости, тем более, что очевидно было то, что отпора он не встретит. Вне сомнения, он бы и сейчас не встретил отпора, но что-то его останавливало, и в который раз уже примерившись обнять Драуле, а то и поцеловать, в последний момент он почему-то дрейфил. Это его и удивляло, и забавляло. В его жизни этакая робость случалась только в детстве, когда он взрослеющим пацаном хотел понравиться девчонкам, и робел даже при их согласных повизгиваниях.

Он чувствовал, что ему хорошо и покойно и так, что и у нее – такое же состояние, и он не хотел нарушить это очарование уединения двоих, боялся его нарушить нелепым прикосновением. Да, он боялся тронуть ее, чтобы не обидеть. И это было так не похоже на него, что тоже увлекало в затеянную им самим игру с этой женщиной, которая нравилась ему непохожестью на других.

- Не в кого, увы, - крикнул он, возражая Драуле. - Пацан-то захныкал. Папе уколотый пальчик показывает. Папа – ах, какая гадость тут растет, сына моего трогает! Хватить под корень, вырвал репейник и закинул за ограду.

- Какое печальный конец. А как же... астра? Она рыдала? – прошептала Драуле, доверчиво приблизившись к Кирову и с тревогой ожидая развязки этой странной истории.

Киров глянул на пробегающие облака:

- Астра-то? Как тебе сказать? Вечером возле нее собралось то же высшее общество, смеялись, танцевали, радовались жизни. А репейник? О нем никто и не вспомнил.

Он замолчал.

Она стояла рядом и тоже молчала.

С соседней сосны упала наземь снежная шапка, обдав их снежной пылью или заслоняя снежной бахромой от этого любопытного мира. Она вздрогнула, прикрыв глаза, и ощутила себя в его цепких сильных объятиях. Она знала, что так будет, она знала, что не будет, не сможет этому противиться, чтобы он о ней не думал. Да, пусть думает что хочет, и пусть она будет очередной жертвой его побед. Пусть! Пусть! Пусть она в его глазах податлива и не прятка в защите. Черт с этим всем. И пусть завтра начнется серая будничность, и запахи коммуналки и столовой ввергнут ее в свое стойло, и она займет его с пониманием своего скромного места... НО!

Но он подарил ей сегодня сказку, и она благодарна ему за то, что хоть частичку своей великой жизни он отдал ей. И он рядом. И она слышит его учащенное дыхание, стук его сердца, его соленые и твердые губы. И в этот миг этот человек, учивший ее преодолевать любые лужи судьбы, принадлежит ей. Только ей! И пусть все остальное сейчас провалится, исчезнет, разрушится, она даже не вздрогнет.

Он с ней...

Он гладил ее волосы.

- Смешная ты.

Драуле с тревогой отшатнулась от него, она не хотела быть смешной в его глазах.

- Правда?

Он был неумолим:

- Правда.

И снова заключил ее в объятия. И время остановилось напрочь. Среди шикарного снежного покрывала, в окружении молчаливых свидетелей – деревьев, мрачно качающих кронами на ветру, в растекающемся белом мироздании, стояли два человека чернеющими точками, сливаясь в мимолетное единство.

Он прошептал.

- Как правда и то, что я хочу тебя видеть чаще.

Драуле вздохнула по-бабьи, даже в такой обстановке понимающая, что есть предел мечтам и желаниям. и отрицательно помахала головой.

- В столовой?.. Все заметно.

Но ведь с ней был не просто мужчина, к которому она прильнула доверчиво и нежно, плывя остатками рассудка по неведомой и широкой реке забвения. С ней был самый влиятельный, самый властный, самый жесткий человек, не ведавший сомнений ни в чем, что касалось его воли и его желаний.

- В какой столовой? С завтрашнего дня никакой столовой.

Она отстранилась от него снова, ничего не понимая – о чем он говорит. На нее смотрели решительные смелые глаза, глаза демона, не терпящего никаких возражений, готового смести любое препятствие и уничтожить тех, кто такие препятствия осмелиться устроить.

- Как? – еле слышно прошептала она.

- Будешь моим секретарем. Я решил, и баста.

Драуле прислонилась к его плечу. Слишком много на сегодня, она больше не в состоянии вынести свалившегося на нее за этот день. И только его горячий долгий страстный поцелуй – это было то, что она запомнила на всю оставшуюся жизнь.

И, как бы вторя ей, недоуменно шептались вверху голые ветки деревьев с проказником ветром, который уже разогнал синеву и заслонял мир сизыми тучами.

Глава 5

Киров не бросался словами. Если даже его решение было ошибочным, и он сознавал это после того как остывал и про себя жалел о собственной горячности, приведшей к опрометчивым оценкам и выводам, на основании коих он и «рубанул», он все равно не признавал отмены своих слов и поступков. Киров считал, как и большинство его верных партийных товарищей, вознесенных на высшие командные должности в первом в мире государстве пролетарской диктатуры, что признание своих ошибок – это недостойное проявление слабости. А уж коли ты лидер, трибун, вождь, на которого смотрят во все глаза и за которым стройными колоннами следуют массы, в едином порыве восторга и доверия, то признавать перед ними даже мелкие неверные действия – политически опасно и вредно. Тем самым, так можно внести трещину сомнения в массовое сознание о своей непогрешимости, а значит, - поколебать людское доверие, принудить их усомниться в твоей разумеющейся правоте в большом и малом.

Эта установка впиталась в кровь и дух Сергея Мироновича настолько, что он даже не задумывался, что может быть по-другому. Если он сказал – так надо, то оно и на самом деле – так надо, и только так. Ни угрызений совести, ни огорчений, ни расстройств, ни сентиментального слюнявого копания в себе (этакой толстовщины с достоевщиной) он не испытывал. И это лишь укрепляло его волю, твердость, жесткость, создавая законченный образ авторитарной личности.

Этот крепкий сплав авторитарности, в который он превратился с годами своего стремительного возвышения на высшие орбиты власти, помогал ему ломать старое и возводить новое глобально, не останавливаясь перед мелочами, не жалеть никого, кто мешал строительству этого нового светлого будущего. И если веру Кирова в коммунистические идеалы можно было считать романтической, потому что он истово желал эры коммунистического рая и отдавал все свои силы приближению этой эры, то его стиль руководства, его методы внедрения идей коммунизма в практику были предельно прагматичными, волюнтаристскими, граничащими нередко с цинизмом и жестокостью. Правда, тому было объяснение – классовая борьба обострялась и миндальничать было недопустимо.

Менее всего он признавал иногда допускаемую им ошибочность своего поведения в отношении с женщинами, называя ее всего лишь недоразумением. В зависимости от последствий такого поведения это могло быть либо досадным недоразумением, либо нелепым, а то и просто смешным приключением. Как и любой мужчина среднего возраста, имеющий вес, авторитет и возможности, он заглядывался на них, жаждал обладания ими и легко добивался своего, опять же полагая, что это естественный порядок вещей. Единственным укором в его беспорядочных многообразных связях была Мария Львовна, Маша. Но этот укор был зыбким, преодолимым,

потому что и сама Мария Меркус в свое время ратовала за свободные чувства, сама прониклась чувством сострадания к проституткам, что только в мнении Кирова доказывало ее свободные взгляды на любовь, и потому что Киров подавил ее сопротивляемость ему, его образу жизни, и потому что Мария Львовна любила Кирова, тем самым с болью прощая ему измены, о которых, по большей части только догадывалась. Муж умел скрывать свои похождения, да и не находилось охотников что-либо сообщать о ее муже ей – это было все равно, что предать Кирова, и если бы он дознался кто имеет длинный язык и короткий ум, то такого глупца вряд ли обрадовало ближайшее утро.

Что касается его женщин, то дурочек среди них не было – им хватало удовольствий, удовлетворения, внимания и подарков от Самого. Они понимали и стремительное возбуждение и такое же стремительное охлаждение к себе с его стороны, довольствуясь тем моментом, в который им удалось удачно попасть. Киров не признавал чувств, и, как только какая женщина открывалась ему в желании более серьезных отношений, нежели те, фривольные и легкие, безо всяких обязательств, что устраивали их до этого, он порывал с ней сразу и категорически. Впрочем, никто от него ничего не требовал, потому что подобная мысль могла придти в голову лишь идиотке.

Назначение никому неведомой официантки на должность секретаря самого Кирова, стало самой обсуждаемой новостью в Смольном. Правда, обсуждения проводились шепотом и с оглядкой. Впрочем, это касалось самых нетерпеливых и болтливых. Более умные предпочитали помалкивать – целее будем. Самые умные вообще старались не вникать и обходить стороной любую зацепку на эту новость.

Первым, кого коснулась эта новость, стал его секретарь Максим, которого он вызвал к себе с утра.

- Вот что, Максим, надо тебе на хорошую дорогу выходить, - огорошил его Сергей Миронович. – Засиделся ты на бабьей работе. Мотаешься ты тут как дерьмо в проруби, не та польза обществу и стране от такого мотания.

- Я что-то делаю не так, товарищ Киров, - чуть невсхлипнул безликий Максим.

- Не ной! – вонзил Киров кулак в стол. – Я же не в плане критики, дурак, а в плане твоего роста. Что тебе за удача – бумажки переключивать, это и кухарка сделать способна. Тебе к делу прикладываться пора, к делу настоящему. – Он встал и прошелся по кабинету, руки в карманах. – Короче, так. Я тебя рекомендовал в Сестрорецкий райком партии. Там согласны взять тебя на обучение и сделать из тебя настоящего партийца, сукин ты сын. Понял?

- Смогу ли я оправдать ваше... - пролепетал пораженный Максим нежданной смене привычного уклада жизни.

- Сможешь, - успокоил его Киров, глядя на Неву. – а не сможешь – заставим. Там хлопцы матерые, в Сестрорецке, выпотрошат тебя и выжмут, но работе научат дельно. Все, иди в отдел кадров, нечего глину месить.

- А как же... - робко спросил Максим, не доводя вопроса до конца, но Киров его понял.

- С Филиппом я перетолкую, он меня поймет, - махнул он рукой, не оборачиваясь и давая понять, что разговор окончен.

Но до того, как известие дошло до Филиппа Медведя, с ним уже были ознакомлены в обязательном порядке начальник отдела кадров и уже бывший начальник Мильды Драуле.

Маргелыч хлопал глазами, не осмеливаясь поверить в случившееся. Он вызвал к себе в кабинетик, за стенками которого слышался звон раскалываемых после мойки тарелок, раскрасневшуюся Мильду и показал пальцем на кадровика.

- Слушай, что он скажет.

Кадровик казенным скучным голосом прочел ей распоряжение первого секретаря обкома о немедленном ее переводе в его номенклатурное распоряжение – на должность секретаря. Округлившись и заблестевшие радостью глаза Драуле безошибочно подсказали начстоловой, что эта бестия явно знала о таком повороте и ждала его, и, видать, дождалась. Чем она смогла привлечь внимание Кирова, Маргелыч деликатно о том не думал. Он напустил на себя важность и проникновенно напутствовал.

- Вам оказана большая честь, товарищ Д.. – он запнулся, заплутав в ее странной латышской фамилии, - товарищ Мила. – Рад, очень рад, что из нашей среды растут необходимые кадры. Уверен, что вы так же аккуратно и честно проявите себя и на новой ответственной работе.

Дождавшись, когда кадровик ушел, Маргелыч хитро улыбнулся.

- Ну, девка, тебе фарт пошел. Мы тебе тут проводы сварганим такие, чтобы нас не забывала, и нос особо не задирала, когда сюда заглянешь...

- Ну что вы такое говорите, - зарделась Драуле. – Я не такая...

Все вы не такие, подумал про себя Маргелыч. Потом и не достучишься. А ты баба-то, не простая, эвон какой палец ухватила. Как это я тебя проворонил, лопух чертов, знал бы, что так пойдет.. тебя бы расположил к себе, все ж свой бы человек был бы там... Высоко взлетаешь, пташка, ох как высоко, оттуда меня не разглядишь более. Ох, как бы не упасть-то, расшибешься, и мокрого места не останется.

До встречи с Медведем, который как раз по другому делу уже ехал в Смольный, еще один человек поделился с Кировым новым назначением. Это был Жданов. Зайдя к Кирову за согласованным проектом наглядной агитации в рабочих коллективах на следующий год, он, между прочим, спросил:

- Сергей Миронович, у вас, говорят, новый секретарь вместо Максима намечается.

- А разве я должен с тобой. Андрей Александрович, этот вопрос обсуждать, - удивленно вскинул брови Киров.

- Да я просто так, - увернулся Жданов. – Оно и правильно. Этот Максим не очень расторопен.

- Верно смекаешь, мой идеолог главный, - рассмеялся Киров. – Давай-ка ты направляй свою энергию на улучшение пропаганды в городе, а не на обсуждение моих подчиненных. Мои заботы – мои, и точка!

- Да чтобы я хоть раз поинтересовался хотя бы одним вашим воином... - в шутовском испуге отпарировал Жданов, внутри все же досадуя на свою бестактность, заодно побаиваясь реакции Кирова. Будучи умным, хитрым, расчетливым и неплохо изучившим нрав и норы своего командира, он знал, как поступать в щекотливых ситуациях, чтобы не вызвать к себе недовольства. Проще всего прикинуться дурачком, подыгрывая Кирову, и тогда туча пронесется мимо. – Вот те крест...

Он сделал вид, что ищет икону, на которую бы стоило перекреститься. Кирову пришлось по душе выходка Жданова.

- Ну, уморил, да если бы кто увидел, что вытворяет идеология в моем кабинете, нас бы с тобой двоих метлой гнать надо бы. – захохотал он. – Атеисты хреновы: один глава обкома крестится, второй рот раззявил. Иди с глаз моих Андрей...

Медведь шутовскому тону не внял, и только качал головой на замену своего соратника Максима какой-то бабой.

- А это и есть бабье дело. Бумажки подшивать да чай кипятить. Ты, Филипп, меня знаешь, я лентяев терпеть не могу, а тут передо мной каждый день такой глаза мозолит.

- Ладно, - сдавался Медведь. – Но почему ты, Сергей, раньше не сказал, что хочешь его заменить. Я бы помог найти хорошую профессионалку.

- А я могу обойтись и без твоей помощи, - язвительно ответил Киров. – Слишком ты уж опекаешь меня хочешь. Может еще в уборной кого рядом с дверью поставишь, чтобы он мне крючок снимал, пока я в нужник топаю. Вон, охрана на входе, охрана в коридоре, скоро и ко мне под стол кого поселишь?

- Не сердись, я же по-дружески, - хмурил густые брови Медведь. – Мы же ничего не знаем о твоём новом секретаре.

- Достаточно, что знаю я. И – баста. На эту тему я не желаю больше лясать. Давай по делу, с которым пришел. Не то подумаю, что мой каждый шаг надо со всеми вами тут согласовывать. Вроде ты ехал ко мне по вопросу строительства на Литейном вашего нового здания. А?

И только один Чудов воспринял новое назначение как нечто само собой разумеющееся, не выказав ни удивления, ни радости, ни замешательства.

Круто взлетела Драуле. Настолько круто, что ее голова кружилась от новых впечатлений и волнения. Если раньше ее в столовой разве и замечали, то лишь как обслугу. Теперь же с ней старались быть обходительными и внимательными, заранее перед встречей с ней, меняя завистливый взгляд на заискивающий.

Отныне у нее была просторная приемная с дубовым тяжелым столом, телефонами, пишущей машинкой, с огромным и тоже выходящим на Неву окном, закрытым тяжелыми зелеными шторами. Отныне ее рабочий день

строился по иному графику, завися от рабочего графика Кирова. Отныне она была ответственным сотрудником аппарата Смольного, как ей сказали на инструктаже в отделе кадров. И эту честь, равно как и ответственность, требовалось оправдать. Это она почувствовала с первой же минут, как только стала осваиваться в приемной. Незнакомые люди, степенные и шумные, уверенные и робкие проходили перед ней, с неизменной уважительностью привечая ее, балуя какими-то сувенирами и вкусными штучками, от которых она неизменно и деликатно пока что отказывалась. В приемную входили высокие начальственные особы, которых она хорошо распознала в столовой. Но туда они приходили не к ней, и не видели ее. Теперь же волею обстоятельств они обращали на нее внимание, и от этого она тушевалась и боялась, что ее скоро выгонят отсюда, как глупышку.

Сам Киров как назло в первые, самые тяжелые ее дни привыкания к новой работе, уехал в командировку в Москву, и некому было ее поддержать и успокоить. Да и когда вернулся, в кабинете сидел мало, все куда-то уезжал, давая отрывисто деловые поручения, и даже парой теплых слов не удосуживая ее трепетную ждущую этих слов душу. Словно и не было Павловска, не было горячих поцелуев на снежной тропке. И единственная реальность от той поездки – это ее новое казенное место.

Одним из немногих кто искренне обрадовался ее неожиданному возвышению, стал ее муж Леонид.

Когда она вернулась вечером домой, все еще обескураженная свалившимся на нее новым местом работы, Леонид читал газету, выписывая из нее цитаты в тетрадку. Читал он и писал лихорадочно, что свидетельствовало о его каком-то новом увлечении.

На Мильду он не взглянул, только в знак приветствия поднял руку и ею же помахав, мол, не мешай пока.

Она не спеша разделась, обулась в затертые комнатные тапки, подошла к столу и села рядом на табурет.

- Леня...

- Подожди, ну минут десять, я заканчиваю. – недовольно скривился он.

- Леня, мне надо тебе сказать что-то важное.

Он раздраженно бросил карандаш. Тот покатился по столу и упал на пол.

А ей вдруг стало страшно от мысли, а что если бы за этими словами, что она произнесла сейчас, следующие были такие – нам надо расстаться. Или – я ухожу от тебя, Леня...

Господи, что их всех ждет? Что там, впереди?

- Ну, так что там еще у тебя случилось, - оторвал ее от путаных мыслей Леня, кряхтя подымаясь с корточек с карандашом в руке.

- Меня назначили секретарем Кирова, - сказала она, глядя на свои судорожно переплетенные пальцы рук.

- Каким еще секретарем, - не понял он. – В столовой, что ли? Что за чепуха! – он еще был в плену своих проектов, и потому не внимательно слушал жену. – Причем тут товарищ Киров?

- Меня назначили секретарем товарища Кирова, - повторила она отрешенно.

Леонид застыл, словно на него вылили расплавленный воск. Его лицо тоже стало восковым, и лишь замерцавшие глаза выдавали в нем жизнь. Карандаш снова покатился на пол. Тупо глядя в стол, он с усилием, даже с некоторой угрозой, прошептал:

- Повтори...

Мильда со вздохом поднялась.

- Ну, что за сцены, Леня, я тебе уже дважды сказала.

Он не слышал ее.

- Секретарь товарища Кирова, секретарь нашего любимого вождя ленинградского пролетариата товарища Кирова... - талдычил он как заезженную и святую истину, и вдруг вскочил, заорав на всю комнату: - Ты?!!

- Я, - кивнула она, с невольной улыбкой смотря на его крайнее изумление. - Я, Ленечка.

Он отшвырнул в сторону мешающий ему стул и по-петушиному вскинул руками:

- Мильдочка, счастье мое, да ведь это... это... - он не находил нужного слова. - Это же... нет, невозможно, чтобы вот так... Это - это грандиозно! Это - необыкновенно. Ах, какая счастливая весть... Я знал, я верил, что меня оценят, но чтобы вот так... Ах, Мильдочка...

- Я не совсем тебя понимаю, - удивилась Мильда. - Причем здесь ты?

- О, Господи, и кого же назначили товарищу Кирову в секретари - полную беспросветность, - театрально воскликнул Николаев, кружась по комнате и подмигивая жене. - Ну что, не понимаешь?

- Нет.

- Мне на работе с недавних пор стало очевидно, что грядут какие-то перемены. Ко мне стали относиться с подобающим, наконец, уважением, и я знаю почему - мой проект о пересмотре транспортных тарифов по сезонам года, это очень важная хозяйственная вещь, пусть мелкая, но она - на пользу нашей партии и народу. Меня заметили, Мильдочка, меня оценили... Вот что. Твое назначение - это мой успех, моя заслуга... - бессвязно бормотал он, непрерывно снуя по комнате мимо нее. - Оценили, и тебя тоже решили подтянуть. Мы - настоящие ленинцы, и таких на обочине бросать нельзя...

- Ты прав, Леня, - у нее не было сил и желания отговаривать его от ошибочного взгляда на происшедшее.

- Да, да, - он подскочил к ней. - Ты согласна со мной! Это все не так просто. С бухты-барахты ничего не бывает. Это первая ступенька, которую мы преодолели. И признание моих заслуг, отразилось и на тебе. - Теперь мы с тобой горы свернем, - он обнял ее.

- Ты что, хочешь, чтобы я твои проекты показывала лично товарищу Кирову, - осенило и испугало ее?

- Ерунда! – небрежно бросил он. – Какого черта мне нужна твоя помощь, это ведь несолидно, некрасиво, использовать личные связи... И без тебя мои поиски нового станут известны Кирову, а может уже и стали, раз тебя выделили среди прочих там всяких.

Она облегченно выдохнула. Муж снова вознесся к своим стихиям, он искренне считал себя способным на грандиозные открытия, и как полагается любому первооткрывателю, снисходительно относился к мешающим элементам, равно как и к их содействию или протекции. Он верил, что он будет замечен и оценен благодаря собственным усилиям. Новость о назначении Мильды секретарем ошеломила и вдохновила его на новую работу. Он не мог предположить, что поводом к ее неожиданному взлету может быть иной¹, чисто житейский повод, и вообще с ним никак не связанный. Это было за пределами его сознания, потому и не волновало.

Мильда смотрела на расхорохорившегося мужа, как на мальчика, которому вручили чудный подарок, и он рад ему, и не знает, что с ним делать, и счастлив только от проявленного к нему внимания. Ей хотелось и плакать, и смеяться.

Она знала, что и так не часто до этого бывшей между ними откровенности, душевной доверительности отныне – никакой вообще не будет. Она никогда не сможет рассказать мужу о Павловске, о том, что подвигло Кирова на такое решение. Она вообще ничего не сможет ему говорить о Кирове!

И не потому, что боится мужа. Не потому, что тот не простит ей вероятной измены - просто он в это не поверит, и все, сочтя ее выдумщицей. А потому, что сама она не понимает этого решения Кирова, сама не сознает, почему Кирову, захотелось повертеть ею, как игрушкой, приблизить к себе. И что она бессильна, что-либо изменить, во что либо вмешаться. Киров даже не спрашивал о ее желании, он делает так, как хочет он, нисколько не сообразуясь с другими реалиями. Насколько это серьезно, насколько это... опасно. Ведь Киров – не просто мужчина, это Глыба, и она ему совсем не ровня. Наиграется, и бросит. Ему-то что. Как ей потом все это расхлебывать. Как объяснять все Ленечке... И - самое главное, она не может противиться его, Кирова, решениям, какими бы они ни были. И самое главное – что Киров ей, увы, небезразличен, и она готова покориться ему без всякой взаимности, без всякой надежды на что-то серьезное.

Именно это она и должна была утаивать от мужа. Именно этим ей нельзя было делиться ни с кем. Она было обречена на одиночество своих чувств.

И она с предельной растерянностью в душе, с царящей там неразберихой и сумбуром своих мыслей понимала, что проверкой этих чувств, стимулом этих чувств и станет для нее эта новая работа. И, единственное, на что еще была сильна ее воля, так это на то, чтобы не называть эти чувства надлежащим словом...

Работы для Драуле стало больше, но, будучи смышленной и энергичной по своей натуре, она достаточно быстро свыклась с новым положением, и все меньше пугалась своей неумелости. К тому же никто не упрекал ее и не докучал.

Киров по-прежнему если и не избегал ее, то особо и не удостаивал вниманием. И это ее удручало и обижало.

Она не могла понять его поведение, его отношение к ней. Но ведь, в самом деле, не для того они выезжали в Павловск, чтобы он там выглядел в ней своего секретаря. Ее губы еще помнили его поцелуи, но, судя по самому Кирову, он уже их забыл.

Сам же Киров по-иному смотрел на происходящее. Драуле ему нравилась, но он ничего не хотел предпринимать в отношении нее, хотя и видел в ее глазах особенное свечение, когда эти глаза смотрели на него.

Все же он понимал, какие пересуды может вызвать ее явление в его приемной, и потому щадил ее от ненужных сплетен. Впрочем, это было вторично, ибо Киров был выше всяких сплетен и слухов, хотя бы потому, что до его ушей они не доходили. Первичным же было то, что как всякая совершенная эгоцентричная натура, он считал, что теперь интересующий его объект – в данном случае, красивая смелая женщина – рядом, вон за дверью его кабинета, и никуда она уже не денется. И пусть пока привыкает к новой обстановке и новому ритму жизни, и пусть тихо про себя злится на его невнимание, но он уже чувствует ее близость, равно, как и она – его. И дело лишь за временем, местом и предлогом, - и произойдет то, что должно произойти.

Все-таки ему импонировало ее присутствие. Действительно, теперь не надо было идти в столовую, и украдкой выглядывать ее. Не надо было притворяться ни в чем. Она была рядом, и как бы она к нему не относилась - уйти отсюда она не сможет. И от ее присутствия, которое он почти не замечал, все же работалось ему в охотку и с удовольствием.

Незаметно наступил новый 1930-й год.

Мильда освоилась на новом месте, быстро усвоив стремительную и властную манеру управления первого секретаря обкома. Регистрация входящих и исходящих документов, валом стекавшихся в приемную, не столько утомляли ее, ибо на этот случай в аппарате Кирова работало несколько регистраторш, и в обязанности Мильды входило лишь ознакомление Сергея Мироновича с наиболее существенными бумагами, получение его визы и отправка бумаги по назначению через канцелярию. Куда хлопотнее было с посетителями, которые либо чересчур церемонились с ней, либо вообще не церемонились. Но к этому она относилась спокойно, понимая, что так необходимо в ее статусе.

Киров редко бывал у себя в кабинете в одиночку. Обычно, как только он возникал в дверях, кивал Мильде (иногда и подмигивал) и, пересекал своей решительной военной походкой приемную, чтобы исчезнуть у себя, за ним

устремлялась либо сопровождавшая его группа товарищей, либо срывались с места ждавшие в приемной. Сначала это Мильду раздражало, ибо она все еще ждала какого-то особенного внимания к себе. Но со временем стало даже устраивать, потому что она стала уверять себя, что нужна Кирову только как хороший секретарь, и все остальное теперь уж точно пора навсегда выбросить из головы, а то, что было в Павловске вспоминать лишь как хороший сказочный сон.

Такие мимолетные обязательные по характеру работы встречи с Кировым, как ни странно, успокоили ее. Душа возвращалась на место. И она уже была благодарна Кирову за то, что он ее почти не замечает, во всяком случае, не выделяет среди остальных – так ей было легче убедить себя в бесполезности каких-либо своих глупых надежд на его тепло.

Со временем Мильда стала иногда сопровождать его в рабочих поездках. Научившись стенографии, она выполняла соответствующую работу, хотя Киров ее об этом не просил. К таким ее редким появлениям рядом с Кировым скоро привыкли, а так как никто не примечал никаких вольностей в их отношениях на людях, то никакой досужей молвы о них и не было.

Машина Кирова мчала по дороге. Киров сидел на переднем сиденье, рядом с водителем, и о чем-то сосредоточенно думал. Драуле сидела сзади, привычно смотря в окно машины.

Машина вильнула в сторону, обгоняя бредущих по обочине мальчишку лет двенадцати, который вел за руки девчонку этак вдвое моложе его. Дети выглядели настоящими оборванцами, их изможденный вид лишь усугублялся дрянной поношенной одеждой. В довершение ко всему, у мальчишки, когда он повернулся на звук мотора, под скулой темнела гематома.

Киров очнулся от своих мыслей, и, когда машина поравнялась с бредущими, внимательно посмотрел на них. Его лицо вмиг стало колючим и злым.

- Ну-ка, тормози! . – крикнул он водителю. Тот нажал на педаль газа так, что Мильду бросило вперед. - Сдай назад.

Машина остановилась, сдала назад и замерла перед испуганно застывшими детьми, во все глазенки смотревших на редкое в этих местах черное большое авто.

Киров вышел из машины. Дул сильный боковой ветер, швыряя мелким снегом в лицо. Киров хмуро наблюдал за тем как поземка змеей скользит по ветхой обуви детей, и что у девочки дрожат ножки в потертых валенках.

- Это кто такие и куда путь держите? – раздался его звонкий голос.

Мальчишка молчал, исподлобья глядя на Кирова. Девчонка тут же спряталась за него.

Киров заметил ее движение, улыбнулся, полез в карман, и достал сушку. Подмигнув девчонке, боязливо и с любопытством выглядывающей из-за бока пацана, он протянул сушку ей:

- На-ка, угощайся, красавица, эго как мы боимся. Дядя не будет тебя ругать. Как зовут-то тебя, принцесса?

Девчонка снова пугливо скрылась за спиной мальчишки, не взяв сушку. Мальчишка сердито засопел, сам не сводя глаз с угощения.

- Это – сестренка, она у чужих не берет.

- Да уж заметил. А тебя как кличут?

- Сергеем, - мальчишка переступил с ноги на ногу и поежился.

- Надо же, тезка! – Киров хлопнул себя по бедрам. - И меня Сергеем. Сергеем Миронычем Кировым. Слышал про такого?

Мальчишка поднял на него серьезный взгляд, осмотрел непонятливого незнакомца и полупрезрительно ответил:

- Ты не Киров.

Киров удивленно уставился на него:

- Эт-то почему я не могу быть Кировым?

Мальчишка снисходительно улыбнулся, словно видя перед собой взрослого глупого дядю, которому нужно втолковывать очевидные истины. Он вздохнул и сказал:

- Киров лопает конфеты и мандарины. И если бы ты был Кировым, то дал бы не бублик, а конфету.

Мильда с интересом прислушивалась к разговору, приоткрыв дверцу машины. Ей было жалко этих малолетних бродяжек, они были такими беззащитными в эту серую холодную пору. Она видела колючее и злое лицо Кирова, и знала его норы – он не делал различий между возрастами и запросто мог распечь детишек за то, что они шляются по дороге в такую непогоду. Она знала, что у Кирова нет детей, а, значит, он мог не испытывать к ним какой-либо сердечности. И она страшно переживала сейчас, и за них, и за Кирова, боясь не стать свидетельницей его гнева, который мог обрушиться на этих замерзших и, судя по всему, голодных малышей. Правда, у нее немного отлегло от сердца, когда она увидела протянутую Кировым сушку.

Киров. Тем временем, выслушав приговор мальчишки, от души захохотал:

- Ну уж, брат, извини, не думал что встречу вас, не захватил с собой, - внезапно его лицо стало серьезным. - А кто это тебе говорил, что Киров лопает...ну, эти самые, мандарины с конфетами?

- Наш главный детдома... - выпалил мальчишка, явно полагая, что дядя действительно очень непонятливый, если и таких очевидных вещей не понимает.

Киров озабоченно потер кулаком подбородок:

- Ага! Значит, мы из детдома... - Ну, ну, вижу, - он пристально посмотрел на мальчишку. И что – в бега? А? Ну, что шмыгаешь носом, соплей нет.

Мальчишка смело и дерзко ответил:

- Я все одно сбегу вместе с Танькой. Пусть только еще раз вдарит...

- Этот синяк – он? – помрачнел Киров.

Мальчишка еле кивнул.

Киров решительно распахнул заднее сиденье машины.

- Мильда, подвинься. Ну-ка, мальцы – живо внутрь. Я вас покатаю...

Детдом находился в нескольких километрах от большака. Заснеженная проселочная дорога была расчищена кое-как, и машина первого секретаря обкома, с трудом, переваливаясь уткой, преодолевала ухабы и колдобины, рискуя застрять. Детишек от тепла салона сразу же сморило, и Мильде приходилось руками поддерживать их. Киров молчал.

Кабинет заведующего детдома украшал плотный мужчина средних лет, сидевший за большим квадратным столом, на край которого были сдвинуты газеты, журналы и какие-то бумаги, а середина стола была уставлена парой кастрюлек, тарелочками и графином с наливкой.

Заведующий обедал. В кабинете пахло супом с курятиной и слышался хруст соленого огурчика в крепких зубах. Ему прислуживала миловидная женщина в белоснежном переднике, которую обедающий заведующий, мурлыкая, то гладил по ноге, то шлепал сзади, смотря каким боком она к нему приближалась. Та уворачивалась и хихикала. Все это напоминало нечто вроде игры в приставания и жеманство.

Наконец заведующему надоело насыщаться и играть, он нетерпеливо притянул ее к себе и усадил на колени.

- Ну, котенька, пора мне поблагодарить тебя за обедик, ты заслужила, - заведующий расплылся в масляной улыбке.

В этот момент раздался настойчивый стук в дверь.

- Что там еще за черт! - заведующий недовольно стряхнул с колен прислуживающую женщину. Та мигом отскочила от стола и скромно стала у стенки.

Дверь открывалась, и на пороге показалась всполошенная сотрудница детдома.

- Давид Гермогеныч, ой, что за беда... Как снег на голову. – зачастила она прямо с порога, показывая пальцем на дверь и сильно волнуясь.

Заведующий раздраженно бросил полотенце, которым вытер губы, в угол кабинета:

- Что ты кудахчешь, тетеря!

Сотрудница словно этого и ждала и обрела голос:

- Там... там... сам Киров!

Заведующий привстал и заорал:

- Где это там, дура!

- Вошел... я так и охнула... а он – веди туда, сюда... я за ним не поспеваю... На кухню ему надо, по комнатам не стал – детки спят..

- Да где он теперь! Чучело стоеросовое?

Заведующий, наконец, понял, что случилось. Он вскочил со стула, кинулся к углу кабинета, поднял полотенце и тщательно вытер им рот. Его руки стали дрожать. Кивнув застывшему у стенки белому переднику, он пролепетал:

- Быстро мне, убери все тут.

Та суетливо бросилась к столу, наступив заведующему на ногу каблуком. Заведующий завопил, и тут же смолк. Дверь вдруг открылась вновь.

На пороге появился Киров, за ним какая-то женщина, смотревшая на заведующего с нескрываемой неприязнью. И именно ее взгляд, а не ничего не выражающее лицо Кирова напугало его до смерти.

Киров, между тем, прищурясь, бегло оглядел кабинет, смерил непонятым мутным взором самого заведующего, усмотрел тарелку супа с куриной ножкой.

В кабинете стояла мертвая тишина.

С затаенной злостью, пальцем показывая на тарелку, Киров спросил. Не глядя на заведующего:

- Не помешал откусать?

Заведующего мгновенно стало тошнить этим самым чертовым супом, который только что казался, как и жизнь, сытным и лакомым. Он с трудом сглотнул:

- Т-то.. варищ К-киров, н-не ждали. Такие г-гости.

- Оставь! – резко махнул рукой Киров. - Я привез двух ваших воспитанников, - он прошелся по кабинету. - Ну-ка, ответь мне, дорогой товарищ, какого черта они у тебя бегут отсюда?

Заведующий вытер обильную испарину на лбу:

- А это опять Семен Балькин со своей сестрою, - он услужливо стал докладывать. - Очень неустойчивый, осмелюсь подчеркнуть, элемент. – заведующий уже стоял по стойке смирно. - Осмелюсь доложить, товарищ Киров, это не святые сироты. Прикидываются. Их родители были заклятые враги советской власти – беляки. И эти – растут волчатами...

Киров, казалось, только сейчас обнаружил присутствие заведующего. Он с ироничным интересом снова кинул его тем же самым ничего не выражающим взглядом, и стой же иронией воскликнул:

- Так ты за это их – кулаками да по мордам? Буржуйские замашки, а?

Заведующий замялся, и ничего не ответил. У него стоял туман перед глазами, все расплывалось почему-то в одно белое пятно, напоминающее очертаниями белый фартук, совсем точь-в-точь как у этой сидевшей на его коленях, как ее, бишь, кличут. И вообще, что здесь происходит, к чему столько людей... Как эта крыса в белом фартуке скалится в его сторону, стоит у стенки, скоро он сам станет у стенки... Заведующий потерял реальность, его трясло, и как сквозь плотную завесу в сознание летели камнями слова, принадлежащие самому страшному человеку на этой земле:

- Заруби себе на носу, Советская власть не мстит детям. С теми с кем надо было разобраться – мы разобрались. А детям наша власть – всем мать. А если власть не может защитить да согреть своих детей, то такую власть к чертовой матери гнать надо. Мы – не буржуи, там дети по помойкам кочуют, и всем наплевать. Ты слышишь меня, а, что осиной трясешься!

- Точно так, товарищ Киров, - уразумел заведующий.

- Этих двух, что я привез, помыть, накормить – да куриным супом, - приказывал Киров. - а не чечевичной похлебкой, что в кухне! И – смотри, с них ли, с кого другого хоть волосок – я тебя лично разорву. – он рванул заведующего за ворот рубахи и шепотом произнес: - Конфеты с мандаринами, говоришь, сукин сын!

Заведующий пошел пятнами. Сотрудница, прибежавшая доложить ему о приезде Кирова, испуганно прикрыла рот ладонью. Женщина в белом фартуке стала сама цветом фартука. В кабинете жил только голос Кирова, втаптывавший присутствующих в ирреальность существования.

- Секретарь, - Киров обернулся к Драуле, стоявшей у порога. Она быстро подошла к нему. Официальным казенным голосом, лишенным любых тонов, он распорядился: - Запишите, когда вернемся в Смольный – соединить меня с секретарем местного райкома и с ОГПУ. Назначим в этот детдом проверку. И – если что – без всякого снисхождения по всей строгости закона!

Киров стремительно повернулся и вышел, следом за ним ушла и Драуле. Заведующий тяжело повалился на стул и дрожащими руками стал вытирать полотенцем лицо.

- За что так, - , показывая полотенцем на захлопнувшуюся дверь, попросил он сочувствия у своих подчиненных.

Но прислуживавшая ему женщина и сотрудница почему-то молча и поспешно убежали прочь.

Драуле, идя вслед за Кировым к машине, смотрела ему в спину и растроганно думала о том – какой он разный – добрый и жестокий, какой он сложный, этот единый и единственный человек в ее жизни.

Этот случай (для Кирова, возможно, пустяковый) потряс ее сильнее всех их предыдущих встреч и разговоров.

Она видела его в действии.

Она сегодня увидела настоящего Кирова, который, не рисуясь, был самим собой, и этот Киров покорила ее окончательно.

Она затаенно шептала ему вслед:

- Как я тебя обожаю, великий человек...

Похоже, он услышал ее шепот и оглянулся.

- Что случилось? – с тревогой произнес он.

- Что? – не поняла она.

- У тебя на глазах слезы...

Видимо, в ее серых глазах, полных слез, было нечто такое, что и он, возможно, увидел ее новой, неизвестной для него. Потому он обескуражено, но тело и ободряюще тихо сказал:

- Все будет хорошо, милый мой секретарь.

И однажды под конец рабочего дня, когда Кирова покинул последний посетитель, он вызвал ее к себе. Она привычно спешно направилась к нему, ожидая каких-либо распоряжений.

Он стоял в своем кабинете у окна и сквозь приоткрытую штору смотрел на Неву, ломающую в своем величественном беге огромные льдины друг о дружку. Не оборачиваясь, он попросил:

- Подойди сюда.

В кабинете царил полумрак, лишь над рабочим столом под зеленым абажуром горела лампа, и потому все кругом выглядело умиротворенно и уютно.

Она остановилась за его спиной.

Так же, глядя на Неву, он задумчиво произнес:

- Иногда мне кажется, что в моей жизни очень не хватает тебя.

Это было так неожиданно, что у нее затаило дыхание. И она едва нашлась, что ответить:

- И сейчас – это «иногда»?

Он молча кивнул и повернулся к ней. И она сделала то, что и должна была сделать, что хотела сделать уже много много дней.

Она обняла его и нашла его губы своими горячими терпкими и зовущими губами.

После было много таких вечеров, и все же, ощущая ее трепетное ждущее иных ласок тело, Киров жалел ее и не трогал, ограничив их взаимную страсть только поцелуями. И она покорилась этому и не обижалась. Он сам пояснил причину этого несколькими словами:

- Ты не другая.

И она поняла. Он не хочет с ней, как с теми женщинами, которых у него было много до нее и, возможно, есть и теперь. Это было похоже на бережное, трогательное отношение к ней, как к чему-то дорогому, которое не хочется залапать или затаскать, чтобы не разочароваться ни в себе, ни в ней.

И потому, лаская по ночам своего мужа, расходуя на него неистраченную страсть, она не чувствовала себя изменницей, и счастливый Леонид, подчиняясь ей, был вне себя от восторга, и клялся, клялся, клялся ей в любви и в общем светлом будущем. Он был уверен, что наступила та новая жизнь, которая отметит его навсегда в истории страны.

И у нее отныне наступила новая полная жизнь, которую она обнимала со всем неистовством и безрассудностью полюбившей женщины

В том же году, летом, Киров уехал в отпуск на пару недель в санаторий ВЦИК и взял ее с собой. Никого в Смольном это его желание не удивило, но и не возмутило. Умело охраняемые ими обоими их соединившее чувство, пока оставалось тайной для остальных. К тому же деловые качества Драуле уже были замечены, и к ней привыкли в самом деле как к личному секретарю первого секретаря Ленинградского обкома партии, порой забывая, что этот секретарь – женщина. Поводов для сплетен не было, и ничего странного в том, что верный секретарь сопровождает товарища Кирова и в отдыхе, не виделось.

Возможно, не все так считали. Но этих людей никто не слышал. Они – молчали.

Киров и Драуле поселились в разных номерах.

Учитывая положение Кирова, ему достался отдельный люкс, и к нему была приставлена соответствующая обслуга – от горничных до врачей, от официанток до гидов и егерей, ежели товарищ Киров соизволял поохотиться или прогуляться по близлежащему лесу.

Драуле поселили на первом этаже, правда, тоже в одноместном номере. Удобства и обслуживание были пожиже, соответственно ее рангу, но доселе ни разу не бывавшая вообще в санаториях, она была поражена роскошью и прелестью этого. И с удовольствием отдыхала как могла.

С Кировым им удавалось видеться реже, чем они представляли, когда ехали сюда. Его опекали даже чересчур, пытаясь поймать каждый его вздох и исполнить каждый его каприз. Кончилось это тем, что однажды он вскипел и потребовал, чтобы ему дали больше самостоятельности, и не пеленали своими заботами, как новорожденного.

Только один раз, под занавес отдыха, им удалось остаться вдвоем.

Они гуляли по саду, разбитому сразу же за зданием санатория, большому тенистому саду, наполненному мириадами ароматов. Щедрое летнее солнце просачивалось сквозь пышную зеленую листву и ласково нежилось на их головах. Было тихо, покойно и красиво. Большинство отдыхающих согласно строгому распорядку отправились на так называемый мертвый час, на самом деле включавший в себя три часа пополудни после обеда.

На Кирова никакие запреты не действовали. И то, что он позвал прогуляться с собой своего секретаря – также не вызвало никакого недовольства сотрудников санатория. Еще бы – товарищу Кирову было позволено все.

Любимый товарищ Киров к тому же из этого санатория по телефону общался с самим товарищем Сталиным, участливо осведомлявшимся как отдыхается товарищу Кирову, все ли благополучно. И подслушавший этот разговор главврач санатория был вне себя от счастья, услышав как товарищ Киров дал самую высокую оценку и самому санаторию и его персоналу. Он даже рискнул после услышанного зайти к себе в кабинет и вместо традиционных ста граммов коньяка влить в себя полбутылки, и всю ночь ему снилось рукопожатие троих – его, Сталина и Кирова.

Киров увлек Мильду из сада и они отправились к большому озеру. На берегу стояли лодки. Киров выбрал одну из них, помог Мильде сесть, и взял в руки весла.

Он греб размашисто и уверенно, точно всю жизнь работал на перевозе.

- Здорово у тебя получается, - улыбнулась она.

- Я же на Вятке вырос, кто ж там с лодкой управляться не может! – рассмеялся он. – Как-нибудь свожу тебя туда. Невелика речонка, до Невы далече, а с норовом, прошмыгаешь – перевернет.

Вдали дымкой обозначился противоположный лесистый берег. Но Киров свернул не туда. Лодка плавно повернула вправо, к заросшему камышами островку.

Мильда мельком окинула остров, гребца и потупила голову.

Киров спрыгнул первым, подождал пока он подаст ему руку с раскачивающейся лодки. Взяв ее за руку, он тут же мощным рывком второй рукой подтащил лодку на берег. И вдруг поднял ее на обе руки и понес к нескольким печально стоявшим березкам.

Вокруг была вода, синяя и прозрачная, теплая и влекущая. И всего несколько акров сухой земли с пышной ярко-зеленой и мягкой травой, дремлющей под тенью колышущихся березок. Откуда-то доносилось пение птиц, шелест волн.

Она закрыла глаза, этой безмятежности и тому неизбежному, что произойдет на этом островке.

Киров бережно положил ее на траву. Не открывая глаз, она ощутила на лице тень от его лица, которую тут же сменили его влекущие губы.

- Тебе на щеку хочет прыгнуть кузнечик, - слышала она его голос, когда он давал ей передышку.

- Откуда ты это знаешь? Можешь читать его мысли? – улыбалась она. Все так же не открывая глаз.

- Могу, - весело и уверенно отвечал он.

- А – мои?

- Твои? Тоже могу, - он наклонился над ней, и она чувствовала, что он ее разглядывает. Всю. С желанием и правом мужчины.

- Например, - прошептала она

- Например, - он крепко и нежно поцеловал ее. - ты меня любишь.

- Я тебе этого не говорила. – тихо ответила она.

- Так скажи, - потребовал он. Именно потребовал, а не попросил. И она знала, что только он на это способен, и только он вправе требовать от нее все, что хочет.

- А если не люблю, - попробовала она сопротивляться.

- Врешь, - крикнул он.

- Вру, - призналась она сразу и без всякого кокетства. И приподнялась на локте. - А почему – я? Ты – Боже мой? – кто ты? Ты – герой, мужчина... сколько самых красивых женщин хотят быть с тобой.

Киров осторожно погладил ее по щеке:

- Но ни одна из них не посмела войти в будуар, хлопнуть с вызовом стакан водки и уйти. Красиво уйти. Вот такой женщины я не встречал. Теперь встретил.

Она засмеялась, вспомнив ту давнюю уже историю, и как она переживала ее после. Как хорошо, что это уже в прошлом, и что теперь тоже все хорошо.

- Я тебе правда нравлюсь, Сережа?

Он чуть помедлил с ответом, прищурясь поглядел на солнце, и лег с ней рядом.

- Я обожаю тебя. Я люблю тебя как это небо, как этот воздух, как этот остров. Потому что все это – жизнь. И ты – жизнь. Моя жизнь...

Она ждала этих слов всю свою жизнь. Им как она раньше не задумывалась, что с того момента как стала отличать горячее от холодного, доброе от злого, голод от сытости, цифры от букв, плач от смеха, - уже с того момента она ждала этих слов. Ждала именно от этого человека, и ни от кого другого.

И никто, как он, не мог и не смел признаться ей в любви, так красиво и так мужественно. И этот человек будет с ней отныне всю ее, короткую или долгую жизнь. И она пойдет с ним и за ним по всем жизненным путям, потому что их соединила любовь, та долгожданная и настоящая, которая не обманет и не ничего простит.

И она произнесла как клятву, как гимн этой жизни, как восторг полета, как любимая и любящая:

- Я люблю тебя...

Он навис над нею:

- Еще, скажи еще...

И она, давая волю его рукам, снимающим с нее платье, давая право его губам целовать его тело, извиваясь от бушующей в ней страсти, и раздвигаемыми ногами предчувствуя безудержное и непознанное сочетание любви и счастья, и принимая его в себя, шептала, точно в бреду, точно в забытии, точно в сладчайшей истоме:

- Люблю тебя. И будь что будет...

- Я никому не позволю, чтобы нам было плохо, - прозвучали его слова и улетели к далеким неведомым берегам жизни.

И только солнечные блики на воде, полувыващенная на берег лодка, в небе резвые птицы да все те же березки, силившиеся дать побольше тени этим двум странным и милым двуногим существам, стали свидетелями прекрасного греха любви.

С этого времени их связь перестала быть тайной.

Часть 2

Глава 1

Башни московского Кремля, подобно атлантам, подпирали провисшее черное небо над городом. Лил сильный дождь, барабаня крупными каплями по окнам и мостовым, срывая желтые набрякшие листья с пригорюнившихся почерневших деревьев. Красная площадь терпеливо несла на себя тяжесть невиданного мраморного сооружения, с не по христианскому обычаю возлежащему внутри тех мраморных стен покойному, которому тысяч тысяч людей несли свои поклоны, мимо которого шествовали с плакатами, лозунгами и девизами в дни праздников, чеканя по брусчатке бодрую поступь.

Но праздники проходили, как прошло и нынешнее лето, и снова над страной, как и над столицей, повисало невыразительное беспросветное и безрадостное небо, заставляющее втягивать головы в шеи и торопиться быстрее шмыгнуть прочь куда-нибудь от всего этого. Мокли плакаты, призывающие и зовущие, с тяжелыми и суровыми лицами победителей и победительниц, которые даже в застывшей улыбке грозно указывали единственно верный путь.

Дождило.

И пока это была лишь осень. До зимы, казалось, еще так далеко, и не близки ее лютые холода и морозы.

Везде по Москве было темно, мало жгли свет люди, пораньше ложась спать, чтобы завтра окунуться в будни строителей социализма, чтобы сэкономить, чтобы поменьше ротозеев думало – а с чего бы это не спят тут.

И только в одном здании горело много окон – в желтом четырехугольнике Лубянской площади.

И еще – внутри Кремля.

Сталин в ярко освещенном кабинете стоял, опершись здоровой рукой о стул, и слушал Ягоду.

Настроение у вождя международного пролетариата было неважное. На днях он не уберется и где-то, то ли в Кунцево, то ли здесь, на кремлевском дворе, его прохватило. И от этого ныла спина, и временами ее так дергало, что он с трудом переводил дыхание.

Беспокоили также сводки о созревшем и уже почти везде собранном урожае, на обильность которого он так рассчитывал, но урожай его любимого детища – колхозов, оказался значительно ниже, чем предполагался. И хотя газеты гремели реляциями и победными строками цифр, он-то понимал, что красив и тучен урожай получался лишь в газетных строках.

И он своим особенным кавказским, мнительным и хитрым, нюхом ощущал, что это все неспроста, что это все следствие специально под него введущихся интриг, дабы усомнился народ в величии социализма, партии и вождя. Еще немало троцкистских выволочек скрывалось на территории Союза, и они, и одурманенные ими нестойкие элементы, мстили партии и ему, Сталину, за расправу над Львом. Львом Давидовичем, за его позорное изгнание из коммунистической страны.

Тяжелое время. Нестойкое время. Переоценка ценностей. И именно ныне требуется еще большая сплоченность, дисциплина, вера. И как горько слушать то, что доводится ему, помимо всего прочего, выслушивать от Ягоды.

Сталин медленно зажег трубку, это всегда помогало ему ухватить нить разговора и найти ему правильное направление. Он искоса взглянул на Ягodu, спичка осветила небритую рыжую щеку Сталина.

- Товарищ Киров, товарищ Киров, - мрачно говорил сам себе Сталин. - Открыто - с какой-то бывшей официанткой. Мало того, он уже давно сделал ее своей секретаршей. Это не красит товарища Кирова.

- Так точно, товарищ Сталин, - эхом отозвался Ягода.

Сталин резко повернулся, в упор зло посмотрел на него. Тот мгновенно побледнел, но и побледневший он неотрывно ел глазами вождя, боясь даже моргнуть. Всем была известна нелюбовь Сталина к тем, кто отводил глаза от него, когда Сталин сам смотрел на собеседника. Подозрительному вождю это представлялось как сознание в предательстве или некоем камне за пазухой.

Сталин тихо, едва ли насмешливо сказал:

- А также не красит ОГПУ, которое должно беречь товарища Кирова, как национальное достояние, и отметать от него все грязное. И если товарищ Ягода этого не понимает, то найдутся люди умнее его.

Ягodu точно окатили ведром холодной воды. Но он по-прежнему старался держаться молодцевато:

- Мы сделаем необходимые выводы, товарищ Сталин.

Сталин прошел в дальний угол огромного кабинета, затем повернул и пошел обратно к Ягоде. Его лицо казалось еще более рябым от набежавших морщин. Сталин напряжено думал над возникшим вопросом. К этой информации о Кирове, которую осмелился доложить ему Ягода, сам Сталин был явно не готов. Конечно, в своем близком кругу он был наслышан о весьма любопытных похождениях товарища Сергея, но это дело молодое, скрытное, и оба они не раз в шутку обсуждали пикантные подробности. Но ныне сказанное совсем не походило на обычные шалости. Это уже пахло связью. Связью порочной и негодной. Да к тому же и практически нескрываемой, если верить Ягоде.

Сталин был растерян. Он пока еще не знал, как лучше поступить с полученной информацией. Киров совсем не относился к его скрытым недругам, противникам и тем более к врагам, даже напротив – у него не было более задушевного и доверительного общения ни с кем из старых и новых партийцев, как с Сергеем Кировым, и они считали себя друзьями по самому

большому счету. Своей неумной выходкой, а Сталин пока расценивал это – как выходку бесшабашного друга – он огорчил его, товарища Сталина.

- Ваши выводы как и ваши оценки меня не интересуют, - наконец, резко отозвался Сталин, - Меня интересует дело. Кто еще знает о вашей информации?

- Я доложил только Ежову, как куратору от ЦК. Он – в курсе. Больше пока никому не докладывал, - отрапортовал Ягода.

Сталин усмехнулся про себя. Ну, конечно же, Ежову. Трусливый Ягода напрямик понесся к куратору, узнав об информации из Ленинграда. Он понял, что скрывать эту информацию опасно, а дать ей ход – опаснее вдвойне. Он надеялся, что Ежов сам рискнет доложить обо всем Сталину, но он плохо знает Ежова. Тот, скорее всего, наорал на него, привычно остался в стороне и приказал Ягоде лично доложить ему, Сталину. Если что – не его голова попадет под сталинский гнев. Да, он хорошо знал натуры тех, кем позволял окружать себя.

- Что значит – пока? – осведомился Сталин, набивая вторую трубку.

Ягода вытер платком вспотевший затылок.

- Никому. Я понимаю, кто такой товарищ Киров.

Сталин с неподдельным интересом взглянул на Ягоду. Любопытно, что имеет в виду Ягода.

- Да? – нараспев вырвалось у Сталина.

- Товарищ Киров – один из вождей ленинско-сталинской партии, настоящий большевик, друг трудового народа...

Сталин поднял руку с трубкой, и Ягода моментально умолк.

- Киров – к тому же – мой друг. Давний друг, с Гражданской. Это вам ясно? – в упор на Ягоду смотрели стальные немигающие глаза.

- Так точно, товарищ Сталин, - пролепетал Ягода.

Сталин кивнул, показывая, что оценил понятливость Ягоды. И назидательно пояснил:

- Плохо сделал товарищ Киров – мне плохо. Больно товарищу Кирову – мне больно. Вот это вы должны зарубить себе на носу, когда будете делать, - Сталин сделал паузу, криво ухмыльнулся, затянулся трубкой и закончил. - свои выводы.

Годы большевистского подполья, годы революционной борьбы, годы гражданской войны, годы партийно-номенклатурных сражений за место под коммунистическим солнцем приучили его изворачиваться и ловчить, заниматься конспирацией и психологией окружающих людей, выявлять самые нужные нити, которыми можно и следует управлять, чтобы победить. У него, вероятно еще заложенная с рождения, тяга к интригам, развилась посредством приобретаемого опыта в горнилах тех пламенных, огненных и организационных лет в сущее совершенство, что пригодилось ему при расчистке пути к вершинам власти. Он был блестящим манипулятором, отчетливо понимавшим слабости человеческой натуры, особенно такие как трусость и жадность. Он выделял таких людей, приближал и давал им

необходимые обещания, и это срабатывало. Жестокий и грубый с детства, он, созревая в большевика, уже от Ленина усвоил нечаевские догмы катехизиса революционера, и, прежде всего, - беспощадную жестокость, невиданную жестокость, которая заставит содрогнуться и согнуться врагов и непокорных соратников...

И сейчас он был на прямом пути к окончательной абсолютной своей победе. И как человек умный, хитрый, мнительный и осторожный, он не спешил наносить удары, выверяя каждый из них с потрясающей точностью. Он уже избавлялся от наиболее одиозных и авторитетных противников, таких как Троцкий. Но он еще и нуждался в поддержке, в надежной поддержке известных партийцев, которые помогли бы ему свергнуть других, прежде чем падут сами.

Это была иезуитская, бесподобная по своему цинизму, логически выверенная по своей стройности и эффективности теория захвата власти. И она пока еще выстраивалась в четкие планы и схемы.

Он многое видел, многое знал, многое предугадывал и многое поощрял. Это отвечало его интересам. Интересам самого великого и самого жуткого Демона двадцатого века.

Он сознавал, что, верхушка большевистского стана в начале тридцатых была уже далека от чистоты человеческих идеалов. Старая ленинская гвардия либо уходила, надорвав себя в нескончаемой борьбе, либо перерождалась. Закаленные герои революции и Гражданской войны на глазах превращались совершенно в иных людей, которым не чуждо и сладкое, и чужое. Вместе с жаркими схватками и лихими передрыгами прошлого забывались проникновенные клятвы и истовые верования. Истинно человеческое, что пряталось, умертвлялось, выбрасывалось за ненадобностью в битвах за коммунистическую фата-моргану, теперь предъявляло счет. Тем более, в первую очередь, порочное человеческое начало также предъявляло свои права и брало неминуемый верх над убеждениями молодости.

Главной виной этому, несомненно, была – захваченная власть. Власть, оказавшаяся в руках людей, не знавших и не знающих, что это такое, не готовых пользоваться ее умно и грамотно, а просто дорвавшихся до нее, как до некоего требуемого подарка. Ленинский лозунг управления каждой кухаркой государством, на деле обернулся административным засилием бездарностей и негодяев, профанов и хапуг. Власть манила и льстила. Она как ржа, разъедала былые устремления и иммунитет души против всяческих буржуазных соблазнов. Многие полагали, что они заслужили своим прошлым нынешний порядок вещей, и по праву могут позволить себе и кусок посытней, и грешок повкусней, ибо в остальном и главном они остаются честными и преданными партии людьми, и если что, не пощадят жизни за дело партии.

Приходящие им на смену более молодые партийцы, возможно, обладали не такой неукротимой верой в идеи коммунизма, но уже обладали достаточной выучкой партийного чиновника и сознанием его преимуществ

перед остальными, и, не гнушаясь, требовали и себе сладкого и грешного по праву партийного руководителя, также не жалеющего сил и здоровья в строительстве социализма.

Партийное товарищество и взаимное служение единой цели переходило в иную стадию, напоминавшую порой схватку голодных псов за вкусную кость. Вместо руки друга маячила тень завистника, обойденного при раздаче. Вместо плеча соратника виднелась ухмылка узревшего компромат противника. И это становилось нормой поведения и общения среди партийных руководителей, и эта норма рано или поздно будет востребована. Востребована им, когда эти неразумные увязнут в своей нескромности, жадности и похоти.

Левые похождения партийных товарищей, при объявленной эмансипации, как-то перестали считаться нарушениями общепринятой морали, не выглядели зазорными, если только за ними не скрывалось нечто более серьезное. Измена жене все-таки не означала измену делу революции, да и о какой измене можно было вести речь, если, подумаешь, партиец, как мужчина, переспал со шлюхой. Со всеми бывает. Разумеется, такое событие не украшает члена партии, особенно рядового, но если ум в голове есть, то об этом мало кто узнает. Понятно, остепенившись от былых времен и вкусив нормальной жизни, нередко партийные чины позволяли себе грешки. Но все это было покрыто тайной и запрещалось к гласному обсуждению. Виновный получал головомойку скрытно, и в следующий раз, если притспит, просто действовал более тонко.

Мало кто оставался безупречен. И потому, что власть кружила сознание безнаказанностью, и потому, что какой же ты мужчина, если не в состоянии воспользоваться своими возможностями, да тебя перестанут уважать и подчиненные, и женщины станут презирать.

Да, он, Сталин, прекрасно понимал эти настроения, в какой-то степени, как сын гор, разделял их, но и не потакал им. Как не понять мужчину, сатанеющего при виде красивой женщины, - главное, чтобы это было временное, а еще лучше, кратковременное затмение.

Да, до него доходили слухи о греховных подвигах его ближайших соратников, но, как правило, эти подвиги ограничивались одной, двумя ночами, и не имели никаких вредных последствий для партии, ну, и возможно, обладали неким последующим расстройством полового здоровья для самих грешников, но это была естественная расплата за полученное удовольствие. И именно эти последствия очень веселили Иосифа Сталина, когда их смаковали в его близком кругу.

Все они, руководители большевистской партии были примерно ровесниками - в среднем около сорока пяти – пятидесяти лет, и потому понимали невинные увлечения коллеги и товарищей, которым-то и осталось гарцевать в постели всего несколько годков, почему бы им не потешиться напоследок, пока еще мужское естество требует, пока еще радуется сознание, что ты мужчина. От этого и работается лучше...

Киров в этой череде не был исключением. Он вообще мало походил на святого, и о его приключениях говорилось немало – доброжелательно и со смехом, мол, ух и хваткий мужик, ах, какой пострел, везде поспекает. Над ним подтрунивали, и он смеялся вместе с Кобой и другими над всем этим.

И вот – совершенно непредвиденная, пока еще не поддающаяся осмыслению информация. Киров – и его секретарша. И – совсем не легкий флирт.

Об этом стоило подумать, подумать очень серьезно. И пока не спешить ни с какими выводами. Еще неизвестно, какие выводы окажутся правильными и какие – полезными.

Мильда Драуле похорошела, этого просто нельзя было не заметить. Казалось, она вся цвела и благоухала. От нее исходили уверенность и обаяние. Ее хорошее настроение, веселость, задор излучались на каждого. И на работе, и дома она была энергична, радостна, заботлива, и донельзя довольный муж Леонид Николаев приписывал ее расцвет своим достоинствам, и сам лез из кожи, чтобы угодить любимой супруге, выполняя ее капризы и желания.

Да и Киров как бы помолодел. Он стал меньше раздражаться, меньше кричать. Его добродушное лицо все чаще излучало добрую усмешку, а любимый прищур глаз выдавал расположение доброго духа.

Их интимные встречи чаще всего происходили у него в кабинете. Теперь, после острова, они не стеснялись заниматься любовью в любое выдавшееся к этому время. Доходило даже до того, что на обед Мильда закрывала приемную на ключ, объявляя проветривание, и они успевали за несколько минут удовлетворить друг друга – предаваясь дополнительной страсти из-за экстремальности условий и обстановки.

Это, в самом деле, не могло оставаться в секрете, как они ни старались. Взгляды, жесты, слова, любые мелочи, которые выдавали их отношения, не мог не увидеть только слепой. Но они пребывали в заблуждении, что все для всех остается тайной, потому что никто не осмеливался даже заикнуться об этом Кирову или Драуле (что было равносильно, что сказать об этом самому Кирову, ибо Драуле без сомнения рассказала бы услышанное любовнику).

Но скоро очевидно стало и другое. И этого скрыть было совершенно невозможно – у Мильды стал округляться живот.

Она заметила это давно, но старалась продержаться как можно дольше, никого не ставя в известность, стягивая талию, и туго пеленая растущий живот, пока, в конце концов, все стало бесполезным.

И она призналась.

- Я беременна.

Киров изумленно повел головой, как стреноженный конь. Его лицо побледнело, и он хрипло произнес.

- Кто?

- Оттуда все, с острова в санатории...

- Не врешь? – нахмурился он.

- Нет.

- А. может, мужа работа? – не верил он.

- Мой муж не хочет второго ребенка. Он одержим своими идеями, и заявил мне, что второй ребенок будет ему мешать. Потому он, - она покраснела, - все время выскакивал из меня, когда ему надо было дарить мне свое семя...

- Прыткий малый, - невольно ухмыльнулся Киров.

И все. Больше он ничего не сказал. Она еще постояла рядом с ним, надеясь услышать другие слова. Но не услышала. Молчание становилось неловким и невыносимым.

В кабинет зашел по делу Чудов, и она вылетела из кировского кабинета, горя, как свеча.

До конца рабочего дня она еще ждала, что он найдет минуту, выйдет сам или позовет ее в кабинет, успокоит и приласкает, порадует, может быть. Но как назло, к нему шли и шли люди, он был занят весь день и вечер.

А вышедший от него одним из последних Жданов, сам о том не догадываясь, пригвоздил ее:

- Милочка, Сергей Миронович, просил передать вам, чтобы вы шли домой, он отпускает вас.

- Спасибо, Андрей Александрович, - изо всех сил стараясь сохранить на лице невозмутимость и придать ему довольный вид от сего известия, ответила она.

И, как некогда, ее дорога домой была полна несдерживаемых рыданий. Но уже других, рвущихся и из сердца, и из души.

А через неделю она взяла декретный отпуск.

Переполошившийся Леонид, не взирая на ее отказы, самолично отвез ее в родильный дом улицу Маяковского, сам настоял, чтобы ей выделили отдельную палату, сразив медперсонал тем, что пациентка – секретарь самого Сергея Мироновича, и вообще был очень суетлив, озабочен и внимателен.

- Мильдочка, прости дурака, - шептал он ей. – Конечно, пусть будет сын. Это будет мой, слышишь, мой сын. Мы выдержим и эту напасть...

- Ну, что ты говоришь, Ленечка, - укоризненно выговаривала она ему. – Как ты можешь так?

Понявший свою оплошность, Леонид суетился еще больше, и тараторил без умолку:

- Да, Мильдочка, глупость. Это – от счастья, я сам не свой, не понимаю, что говорю. Кажется, не хотел сына, а вот, когда узнал, что ты – того, так сразу и захотел.

- Да почему ты решил, что будет сын? – невольно улыбалась она, глядя на его счастливое глупое лицо.

- Да как же так, - опешил он. – Моя порода настроена только на сыновей. Мой прадед, дед, батя – они стругали только сыновей, и я – такой же. Так что не переживай. Я знаю – будет сын. Вот только... - он поджал губы. – вот

заковыка, как же мы его назовем. Маркс уже есть... Знаешь, Мильдочка, давай назовем его Энгельс. Это так здорово!

Он мало не заплясал от такой гениальной идеи, внезапно осенившей его мозг.

- Нет, нет, - она даже пристала. – никаких больше непонятных имен. Не допущу...

Ленечка тут же надул губы.

Но в этот момент их разлучили – врачи отвели Мильду в палату, и она была этому рада, что, наконец, останется одна, вдали от всех и от влеречивого обалдевшего мужа, и от него, от того, из-за которого находится здесь, а он даже не обнял ее напоследок.

Теперь она может наплакаться вволю, никто не помешает ей. Вот и все, девочка. Сказка твоя кончилась. Или ты рассчитывала еще на что-то? А? Дура! Дура! Дура!

И лишь толкавший ножкой в живот изнутри плод ее грешной любви не соглашался с ее мыслями, и она успокаивалась, засыпая в надежде увидеть хотя во сне и пережить заново или Павловск, или остров...

Приемная Кирова опустела.

Влюбился ли он по-настоящему? Он не искал ответа на этот вопрос. Его привлекала эта женщина своей необычностью, женственностью, внутренним достоинством выраженного чувства к нему, смелостью, покорностью – но не той пошлой рабской покорностью слабой женщины к сильному мужчине, а покорностью раненного бойца, которого помимо его воли уносят с поля боя. Она не сдалась на его милость, она вручила ему себя. Изящно и грациозно. Дерзко и не лукавя. Осознанно и не труся. Доверчиво и без оглядки. И – ничего не требуя от него взамен. Видимо, полагая, что он сам, если она в нем не ошиблась, даст ей то, что ей нужно.

Да, он ей дал, и – немало! Покровительство! Внимание! Силу! Наконец, свое признание! Он честно признался, что любит ее, ибо это было так, и он в этом был убежден. Он видел, что она была с ним счастлива. И это укрепляло его, и давало новую радость этой жизни.

Но это была грешная любовь. Она была обречена на скрытность, на надежную завесу от остального мира. Они оба это понимали, и тем неистовой порою открывались их тела и души друг другу. Но правильно ли хранить в погребке драгоценный сосуд и все время бегать туда украдкой, чтобы любоваться и наслаждаться им в одиночестве, не имея права никому не то что показать его, но даже заговорить о нем? Запрет на легальность их чувств не подлежал сомнению. И это было очевидно.

Они жили в мире людей с устоявшимися традициями, устоями, моралью, утяжеленными светлыми и верными идеалами социалистической ауры.

У него была семья. У нее была семья...

А стоит ли говорить о его высочайшей государственной должности, которая для общества представлялась безупречной как вид ангела. Любое

пятно здесь было просто немыслимо. Даже если эту должность подмял под себя могущественный и легендарный человек.

Он не думал, что у них могут возникнуть сложности. Захватившая их страсть поначалу не придавала значения этому, ибо «это» выглядело так мелко по сравнению с тем, что захватило их в едином порыве.

Теперь же мелочи выходили на первый план.

И самая чувствительная мелочь, если ее можно так назвать, это был будущий ребенок Мильды.

К этому он оказался совершенно не готов.

Да, у него не было детей. И он с Машей, Марией Львовной, свyksя с этим тягостным приговором. Ни она, ни он не пытались выяснить – в ком из них сокрыта причина бесплодия. По молчаливой договоренности они ни разу эту тему не обсуждали. И со временем он утратил остроту отцовского восприятия ребенка. И как-то в сознание с временем прочно вошла истина, что ему не иметь детей, и потому он особо не оберегался последствий своих походов, и ему то ли везло, то ли его женщины умело и умно предохранялись, то ли еще что... И это еще больше укрепляло его в унылом выводе – детей от него нет.

И поэтому смысл сообщенного ему Мильдой, что она беременна и беременна от него, до Кирова дошел не сразу.

Отягощенный кучей дел, требующих постоянного напряжения внимания, сил, нервов, он не имел возможности дать себе передышку и крепко обдумать все то, что случилось с его любовницей. И потому факт ее беременности крутился в его мозгу, как легкий осколок, отгоняемый тяжелыми форматами будничных дел, так вертится пух в замкнутом пространстве, которому никак не укрепиться в статичном положении от любого сотрясения. Иногда этот осколок внезапно больно колот в мозг, и Киров на мгновение терял представление – что он сейчас делает, с кем говорит и о чем, и тогда, со злостью он отшвыривал этот осколок куда подальше, чтобы не мешался. Но тот через некоторое время возвращался, и снова тупой ноющей болью заставлял его снова вздрагивать, и отвлекал от нескончаемой вереницы и рутины славных деяний во имя светлого социалистического будущего.

Его будущий ребенок оказывался совершенно некстати. Он разрушал устоявшуюся схему отношений Кирова с этим миром, коверкал ее, требовал поиска и выстраивания новой жизненной схемы, в котором ему, этому ребенку, отводилось полноценное и свое место. А также – его матери.

И как он ни гнал от себя эти мысли, они постепенно стали овладевать им, и с этим надо было что-то делать. Надо было разбираться со всем этим и ставить нужную точку. Надо было определяться. Надо было... Надо было... Все эти надо было мучили его как зубная боль, от которой надлежало или избавляться, или терпеть.

С женской пронизательностью Мария Львовна почувствовала, что у Сергея Мироныча не все как будто ладно. Она заметила, что он стал более раздражителен и задумчив в те редкие домашние вечера, когда возвращался

не поздно. Киров же как раз дома отпускал тормоза своим переживаниям, так как здесь ему никто не мешал дать им волю. О том, что думала Мария Львовна, его не особенно тревожило – он сослался на чрезмерную занятость и усталость, чем и объяснил ей свое состояние. Мария Львовна поверила и стала более заботливо и внимательно относиться к мужу, не догадываясь, что это раздражало его сейчас еще больше, хотя он крепился и старался не подавать виду перед женой, как все это не нужно. Но ведь и объяснить ей – что ему нужно – он также не мог, не хотел и не имел права.

Он должен был решиться на что-то. На что? Самым естественным и нормальным выглядело – немедленно порвать с Мильдой. Слово ее и не было никогда. И пусть делает что хочет. Его это не касается. И никто не упрекнет его в этом. Такое очевидное простое решение вопроса как-то успокаивало, как успокаивает укол морфия. Но – ненадолго. В очередной раз когда эта же мысль пронзила его сознание, Киров подошел к зеркалу, посмотрел на себя, ощерился и сказал неизвестно кому:

- Ты можешь быть хорошим негодяем, Серега, но подлецом, увы, тебе не быть.

И – как отсек. Отныне эта мысль забыла дорогу в его голову.

Но проблема жила, и, мало того, совсем неожиданно для него она повернулась и другой стороной...

Первый секретарь Ленинградского обкома Сергей Киров и начальник Ленинградского ОГПУ Филипп Медведь предпочитали охотиться вдвоем. Их приятельские отношения ни для кого не были секретом, а общее увлечение охотой способствовало их укреплению.

Вырываясь из каменного мешка города в звенящий вечной жизнью лес, Киров преобразался. Он как бы напроць сметал с себя усталость будней, режимность партийной дисциплины, начальственный жирок, неурядицы и переживания. Лес был далек от суеты двуногих. Это был словно храм, призывающий к истине, где можно было задуматься над вечным, отпуская от себя брэнное. Зимой ли, бродя среди заснеженных холодных стволов по колено в сугробах, летом ли, отбиваясь от надоедливой мошкары и запутываясь в буераках, он любил впитывать в себя звуки и запахи леса, как молчаливого и искреннего друга, который весь открыт перед тобой, и ему неведомы козни, интриги, предательства, лозунги, идеи... и даже если не удавалось подстрелить какую-либо дичь, Киров всегда возвращался с охоты в приподнятом настроении, восстанавливаясь духом в лесных чащобах. И снова окунался в привычную канитель, и скоро снова начинал тосковать о лесной располагающей к самооткровению тишине.

Филипп Медведь в охоте видел только один смысл – самой охоты. Полностью оправдывая свою фамилию, - этакий увалень, плотный, с тяжелым шагом и взглядом, - он напоминал хищника, вышедшего на тропу и занятого только одним – поиском зверя. Его привлекала кровь подранка, его охотничий азарт воспламенялся при лосином реве. Его настроение портилось, если с охоты он не притаскивал даже заваливающей дикой утки или

зайчишку. К тому же, его чекистский мозг был далек от любой романтики и любых слияний с природой, а потому лес дополнительно еще интересовал Медведя, как место, где можно было искренне поболтать без опаски о лишних ушах и соглядатаях.

Эта охота для обоих выдалась не совсем привычной.

Лес набирал силу после зимней спячки. Сырость, сочившаяся, казалось, с каждого куста, ствола, бурелома, валежника, обнажившихся от снега и черневших во всей своей замысловатой графике вокруг, проникала под ватники и оседала каплями на вороненых ружейных дулах. Кое-где в низинах еще серел нерастаявший снег, хотя с неба уже всюю припекало весеннее солнце, и некие торопливые юные деревца уже красовались набухающими почками. Под ногами хлюпало и трещало. Понятно было, что время для охоты выбрано не самое удачное.

Как заядлые охотники они понимали это, равно как и то, что не сама охота явилась поводом для выезда сюда. Киров помалкивал, полагая, что Медведь, как инициатор этой охоты, сам выскажется – какого черта ему взбрело в голову пошляться по апрельскому сонному лесу, имитируя охотничью вылазку.

Он предполагал, что поводом стала их недавняя размолвка – Медведь доложил ему о намеченной им высылке из Ленинграда нескольких троцкистов, установленных его ведомством. Киров тогда неожиданно вспылил:

- Какого хрена с ними миндальничать, - заорал он на Медведя. – К стенке эту заразу.

- Да они из пролетариев, поддались, дурачье, на троцкистскую патоку, - не согласился Медведь. – Пусть там на востоке дурь работой сдует, поумнеют, и все дела.

- У них было три года поумнеть, - рубанул кулаком по столу Киров. – В стране обостряется классовая борьба, ты сам знаешь об этом. Враг ищет дураков и предателей, и нам не важно, кто точит на нас нож – искренний дурак или стойкий предатель, ибо у ножа одно лезвие.

- Так-то оно так, - кивал головой Медведь. – Были бы из интеллигентов, из бывших царских или там еще какие, не моргнул бы глазом – под трибунал, и дело с концом...

- Филипп, слушай меня, я последний раз слышу от тебя такое сюсюканье, - Киров прошелся по кабинету. - Разговора между нами, считай, не было, делай как хочешь, жалей их всех до ядерной фени, но – последний раз. Высылай к черту! С семьями! Навсегда отсюда! Понял меня? Но еще раз подкатишь ко мне с такой ботвой, я тебя лично на партбюро пропесочу и вкачу строгача...

Именно тот незаконченный разговор – им тогда помешал Жданов, пришедший некстати по какому-то делу, - как полагал Киров и должен был закончиться здесь, в лесу, где никто им не помешает.

И все же он молчал, лихо перескакивая с мокрой гнилой ветки на тропу, а с нее снова на очередную чернеющую дровеняку, ожидая, когда начальник

Ленинградского ОГПУ первым начнет разговор. Но и Медведь пока тоже не открывал рта.

Оба неспешно шли со вскинутыми ружьями. Вокруг стояла мертвая тишина. Даже воронье перестало каркать. Внезапно Филипп Медведь остановился и замер, показывая Кирову пальцем – стой. Его нос хищно раздувался, точно Медведь учуял какой-то след. Мгновенно охотничий азарт охватил трепетным желанием Кирова, его ладонь поневоле потянулась к курку. Все остальное на время перестало существовать. Только неведомый, прячущийся где-то впереди или сбоку зверь, он спутал и выбросил прочь все мысли.

Но это оказался не зверь. Тяжело хлопая крыльями, с каким-то надрывом, впереди взлетела крупная птица. Неужели тетерев, удивился Киров, и дальше не раздумывал.

Раздался выстрел. Ружье Кирова дернулось и опустилось. Завоняло пороховым дымком. Птица, не меняя курса, еще судорожнее полетела вверх. Тут же раздался второй выстрел – стрелял Медведь. И точно невидимой волной птицу шибануло, перевернуло в воздухе, закружило, и она беззвучно грохнулась наземь

- Эк, как ты ее уложил, - смущенно произнес Киров, досадуя на себя за поспешный свой выстрел и промах.

- А у меня работа такая – с одного выстрела, чтобы... – пожал плечами Медведь, и уверенно и медленно пошел в кусты за трофеем.

- А я что-то барахлить стал, - Киров остановился, наблюдая за другом. Перекинул ружье за плечо. - Вишь, какой мазила.

Медведь скрылся в мокрых кустах, нагнулся, чего-то возился, шелестел, наконец, поднялся, но без всякой дичи в руках. Киров вопросительно посмотрел на него. Медведь нехотя усмехнулся:

- Дрянь пичужка, не стоило и патрона тратить. Куда такую тащить – народ засмеет.

Киров окончательно уверился – не охота позвала сюда их, ой не охота. Не умеет Медведь врать-то. Во всяком случае, ему.

- Все равно, ты попал, я промазал к чертовой матери, - сказал Киров, чтобы что-то сказать.

Медведь вышел из-за кустов и, едва не поскользнувшись, вернулся на тропу. Его сощуренные мрачные глаза смотрели на Кирова.

- Ерунда, - небрежно ответил он, ладонью схлестывая с плаща мокроту и гниль. - Ты, Мироныч, стрелок другого класса, твои цели куда выше – этой. Вот там ты шелкаешь, что надо ничего не скажешь. Аж дух захватывает. Порой диву даюсь – как это я умудрился с таким человеком познакомиться, да еще запросто с ним толковать...

- Ого, и ты уже мне льстить научился, - удивился Киров.

- А я тебе не льщу. Я правду говорю. – крутанул большой головой Медведь.

Киров с улыбкой подошел к Медведю, примирительно похлопал его по могучему плечу:

- Фу ты, ну ты – обиделся как красна девица. Понимаешь, терпеть не могу это подхалимство. Мы, большевики, должны искоренять эту буржуйскую заразу. А тут шагу не ступишь как – Сергей Мироныч, да Сергей Мироныч, как вы правильно шагнули, как вы верно отметили, как вы справедливо провозгласили – в общем, ах да ох. Мы просто благоговеем. Молимся на вас. Тьфу! Этак скоро иконы с меня рисовать да по углам ставить начнут... - он сплюнул. - Вот Чудова уважаю – молодец, мужик. Ни хрена ни разу не подлизал. Упрямый, упертый, заноза, колючка целая – а люблю! А этот - Андрей Александрович – такого, как огурец, не сорвать да не распробовать. Высокомерен-то еще как, а глазки – лебезящие. Опасается меня, но присматривается – как дышу. И он так старается. А отвернешься – а он уж по иному дышит.

Медведь согласно кивнул. Он знал, с какой настороженностью принял Киров появление в обкоме Жданова. Стремительная карьера этого человека, обласканного самим великим Сталиным, уже внушала и уважение, и опаску. Впрочем, Сталин сумел доказать Сергею Мироновичу, что Жданов направлен в Ленинград для усиления агитационной работы, в которой он большой дока, и вообще не будет соваться ни в какие административные и хозяйственные дела. Киров тогда еще буркнул – «Пусть попробует». Сталин тогда, посмеиваясь, обнял его и доверительно шепнул – «Какой ты ерш, Сергей. Не завидую Жданову, слопаешь ты его, ну и поделом ему, если окажется съедобным». На том и порешили...

- Ты поосторожней с ним. Этот мариупольский хохол в большой почет вышел, - вытащил его из воспоминаний негромкий голос Медведя.

- Да ни хрена я не боюсь, - разозлился Киров. - Захочу – раздавлю этого Жданова как таракана.

Медведь тоже закинул ружье за плечи, стал вполоборота к Кирову, закурил и остервенело бросил погасшую спичку куда-то за тропку.

- Так ли? За что же ты его давить станешь? Он – верный и преданный партиец. Не подступишься. Парень – не промах. Своего не упустит и не отдаст.

- Ну, я тоже не лыком шит. – зазвенел Киров. – Меня, между прочим, тоже не раздавишь.

- А вот это – тоже правда, - рассмеялся Медведь. – И сказано-то как – скромно.

Киров тоже рассмеялся, но не очень радостно.

- Пошли к столику – выпьем, а то зябко как-то стало, предложил Медведь.

Они подошли к походному столику, заблаговременно подготовленному и уставленному водкой и закусками. Столик стоял в уютном месте на тщательно очищенной от снега и грязи полянке, на окраине леса. Вдали виднелась лента дороги с черневшими у обочины машинами Кирова и Медведя, у которых переминалась с ног на ноги охрана и обслуга.

Медведь открыл бутылку, плеснул в алюминиевые кружки чуть ли не по половине, оглянулся на дорогу и поставил бутылку на стол.

Киров проследил взгляд Медведя и кивнул в ту же сторону:

- Ты мне зачем кучу таких лбов пришпилил? Пусть вон врагов советской власти ловят.

- Так положено. Не волнуйся, что не нужно – они не увидят, рты – на замке. А если кто что вякнет – похороню тут же. Ну, что, будем здравы, друг сердешный да закадышный.

Они ударили кружками, выпили, смачно занюхали рукавами плашей и принялись за закуску.

- Что-то я не понял, к чему это ты, - сощурился Киров, прожевав кусочек буженины.

- Мы с тобой дружки, Мироныч, потому не злись и не скалься, - Медведь хрустнул пальцами рук, растер ладони. - Разговор к тебе есть. И разговор – честно скажу – поганый.

Киров помрачнел, но попытался еще обратить начало разговора (по Филиппу понял – очень серьезного) в шутку:

- Да? Хорошенькое начало. Впрочем, когда ОГПУ может о чем-то хорошем толковать. Валяй, Филипп.

- Я не буду тут юлить, буду напрямому – как другу и как коммунисту, не принял шутливого тона нахмурившийся Медведь,

Киров поморщился:

- Да ты уже юлишь – вокруг да около. Руби прямо. Так и так, товарищ Киров, прошлепал ты контру, пригрел на груди заразу.

Медведь почему-то глядел на верхушки деревьев, колышимым налетевшим холодным ветерком.

- Контру ты не прошлепал, а вот пригрел на груди – точно.

Киров отшатнулся и побледнел. Его глаза сузились и словно бы оцарапали застывшую фигуру Медведя.

- Ну-ка, ну-ка, если ты хочешь о том, о чем я, подумал, не дай Бог, я тебе морду набью. Не посмотрю – что мы дружки-приятели старые. Понял меня? А, друг сердешный да закадышный?

Медведь пододвинулся к нему:

- Бей! Начинай. Но – выслушай, лучше от меня услышь, чем от какой-нибудь гниды, - и тут же торопливо, с придыханием, чтобы Киров не перебил, сказал:

- Поползли слухи, поганые слухи о тебе и твоей этой девке.

Киров гневно топнул ногой.

- А вот это тебя не касается. И никого – не касается.

- Нет, касается, - Медведь играл желваками щек. Было видно, что ему этот разговор дается с большим напряжением. - Ты не татарин-дворник с Лиговки, это он пусть себе хоть гарем заводит...

Киров невольно ослабил:

- Так ты ж его, этого несчастного татарина-дворника за многоженство повесишь вниз яйцами.

Медведь холодно, снова не приняв тона Кирова, произнес:

- Я его расстреляю. И забуду об этом. Но ты – ты власть. Ты первый в нашем городе. Ты – честь партии и ее совесть...

Киров рассерженно махнул рукой:

- Филипп – давай без этого, мы не на митинге.

- Да что ты лыбешься! – взбеленился Медведь. - Ты что сам не понимаешь, что делаешь! На хрена ты закружил с этой замужней бабой, приспичило что ли!

Улыбка медленно сползла с лица Кирова, оно пошло пятнами. Внятно и глухо он прошептал:

- Заткнись! Я тебе уже сказал – это никого не касается. Это – мое дело. И сюда ни одна собака пусть не лезет. Я отчет ни тебе, никому другому держать не буду.

- Так ли?

- Что ты имеешь ввиду? Слухи? Так на то ты и есть, чтобы расправиться с ними. Тебя учить? Поставь к стенке пяток таких слухачей, остальные языки в задницу засунут.

- Всех не поставишь. – Медведь снова захрустел пальцами. - И не каждого – можно поставить. И ты дурачком не прикидывайся.

Киров, наконец, понял – вот ради чего пригласил его дружок на охоту – на путь истинный наставить. Ничего себе, удружил. Он никому не позволял и не позволит лезть в его душу и поучать его. Вон, Медведь даже вспотел – ему самому сколь неприятен и тяжел этот разговор. Ну и нечего разводить тут круги по воде.

- Хватит, товарищ Медведь! – зазвенела столь привычная сталь и воля его голоса. - Замяли этот вопрос. Я больше не хочу об этом говорить. Иначе мы разругаемся.

Но и Медведь тоже был не из тех, кто остановится на половине пути. Он совсем потемнел лицом и закричал:

- Да что же за упрямство этакое! Я и так как могу душу эти слухи, но они могут дойти до Хозяина. Понимаешь? А вот ему ты отчет дашь, и не пикнешь! Это ты здесь первая цаца, а там...Ну так и задумайся – нужно ли тебе - все это.

- Ты что – серьезно?

Медведь зло сплюнул:

- Даже очень серьезно. Кстати, меня самого внезапно и без объяснений срочно вызывают в Москву.

Киров недоуменно посмотрел на Медведя:

- Зачем? У тебя хорошие показатели, в работе порядок.

Медведь снова посмотрел на верхушки качающихся деревьев и тяжело вздохнул:

- Да так, кажется, догадываюсь. А ты не догадываешься – зачем?

Оба замолчали.

И, словно подхватывая нить законченного и незавершенного разговора, закаркали залетавшие между деревьев вороны. Вместо ветерка поднялся

стылый ветер, со скатерти походного столика на землю упали несколько тарелок...

Глава 2

Рожала Мильда трудно. Плод, уже живое свидетельство любви и греха, норовил вырваться наружу из ее чрева, чтобы заявить о себе. Он упирался и брыкался, доставляя ей мучения. Опытные акушерки прицокивали языками, бормотали традиционные успокаивающие слова, сноровисто делая свое дело. Она была в полном сознании, ее глаза нашли на потолке какую-то трещинку и уцепились за нее, словно это была спасающая от болей волшебная черточка. Она чувствовала беспрестанные толчки, жгучее и разрывающее живот движение из своего лона, ей почему-то было стыдно за свое оголенное естество, слезы и пот текли по ее щекам, закушенные губы одеревенели. Но она терпела. Она не знала, радуется она или не радуется этому ребенку. Какому ребенку?

- У вас сын, гражданочка, поздравляем... - донеслось откуда до нее, и не успела она осознать значение этих слов, как операционную прорезал звонкий недовольный и испуганный крик новорожденного.

Сын.

Его сын.

Она вдруг почувствовала несказанное облегчение и пустоту. Из нее как бы вышла некая сила, отягощавшая ее, стреножившая ее, скручивающая ее волю и тело в жгут неразрешимых проблем. Неизвестность пока не пугала ее, словно альпиниста покорившего очередной уступ, которым были заняты все его помыслы и усилия, и не думавшего пока о самой вершине. Она должна передохнуть и освоиться с тем, что уже свершилось. Свершилось же – у нее сын! Его крик превращался в сладкую песнь для ее ушей матери. Несмотря ни на что, он – желанный ребенок, и она уже любит его, любит так, как и его отца, потому что зачат он был любовью, истовостью, страстью и покоряющим желанием. И чтобы там кто не думал об этом иное, ей сейчас все равно.

И она заплакала, и светлые слезы катились по ее лицу, и слабая улыбка скрашивала ее бледное изможденное лицо.

- Вот и мама у нас, молодчинка, - весело говорил кто-то, заботливо подворачивая под ней одеяло. – Вот и славненько, вот и ладненько...

Леонид, наскучивший уже всей больнице, суетливо прохаживался по пустынному фойе, и, завидев очередной белый халат, не успевавший от него вернуться, доставал одним вопросом:

- Ну, как она там?

- Кто?

- Как кто? Моя жена рождает, а вам – кто... - тут же раздражался Николаев.

Его ничто не могло успокоить. За то время, пока Мильда лежала в роддоме, он отчетливо осознал, что без нее он больше жить не способен. Без

нее было пусто в комнате, без нее все валялось из рук, без нее он не ощущал заботы о себе. Он даже стал попозже приходить с работы, чтобы поменьше быть в одиночестве (сына Маркса по совету Мильды пока переправили к родне, так как Мильда опасалась, что Леонид не сможет обеспечить за ним необходимый уход).

Он не замечал своих чувств к Мильде, пока она буднично была рядом, пока готовила ужин и ухаживала за парализованной матерью и Марксом, пока расстилала постель, заводила будильник, пока ночами доводила его временами до глупого блаженства и уверенности в своей значимости, пока по утрам не будила и подавала к столу завтрак, пока...

Ему стало понятно все это, когда привычный уклад жизни вдруг нарушился, когда он оказался один. И очевидное, но ранее скрытое от него за разумеющейся реальностью, стало открытым и ясным: ближе и дороже Мильды, человека, который его понимает и ценит, нежит и лелеет, он больше никогда не встретит.

- Мильда, - зывал он к ней в пустой комнате. – Мне что-то тоскливо без тебя. – А тебе, поди, все равно. Лежишь там со свом брюхом, и в ус совсем не дуешь.

У Мильды не было усов, но это не имело значения, он обвинял ее в своей нынешней неустроенности и заброшенности как мог. Ему казалось, что она специально его бросила, и он был от ужаса, пугая соседей по коммуналке.

Он пытался сосредоточиться на своих новых проектах, но они почему-то не давались ему, выходила какая-то ерунда, в которой он путался настолько, что уже не понимал, в чем, собственно, смысл его очередной затеи. Это его стало удручать. Он забросил свои записи и дневники, связав все вместе в одну папку, и положив ее на самый верх в чуланчике.

На работе у него тоже как-то не ладилось, но там, зная о близких родах его жены, тем более зная о ее должности, вняли его состоянию, и дали трехдневный отпуск. Так для конторы было спокойнее, ибо Николаев становился просто невыносим своим беспрестанным нытьем и причитаниями, сменявшимися непонятными восторгами.

Незадолго до ее родов ему взбрело в голову, что она может просто вот так умереть, ведь есть же такие случаи, когда женщины умирают при родах. И это потрясло его. Где-то с час он был в полной прострации от этой мысли. Затем, накинув на себя трясущимися руками одежду, он помчался в роддом, хотя уже был поздний вечер, наорал на дежурных врачей, потребовал, чтобы ему доложили о ее состоянии и провели к ней, чтобы он сам в этом убедился, ведь ему могли нагло врать...

И так он осаждал роддом до сего дня, пока, наконец, все разрешилось.

К нему вышла пожилая толстая медсестра, шаркая стоптанными тапками, и, улыбаясь, крикнула:

- Ну, молодой папаша, радуйся. Все в порядке. У тебя сын.

- А? – ошалело завертел головой Николаев. – А она, Мильдочка моя, как она?

- Тоже хорошо. Да не плачь ты, - увещевала его медсестра, но Николаев, с глаз которого фонтаном ринули слезы, уже не слушал ее. Он замахал руками и стал наворачивать бесцельные круги по фойе.

- Я хочу их видеть, хочу! – Николаев чуть ли не затанцевал окло нее, а потом рухнул на колени.

- Да ты бы цветов пошел купил, что ли, - направляла его медсестра. – Игрушку какую, ишь одурел от счастья-то.

- Цветов? – непонимающе моргал на нее Леонид. _ Ах. Да, да, конечно же, цветы, ну, разумеется, цветы...

Вскочив, крутанувшись на каблуках, он стремглав вылетел из роддома. Громко хлопнула дверь

- Шалапутный, - покачала головой медсестра, - да оно и понятно, все же сыночка родили...

В Москве похолодало. Промозглая непогодь отравляющим газом заползала на улицы, в тупики, закоулки, на площади, в дома и все щели, заставляя вздрагивать и плотнее запахиваться во что-нибудь. Хотелось удирать со всех ног куда-нибудь, туда где хоть какой-нибудь есть просвет, туда, где холодный сырой воздух не проникает в легкие и не душит. Даже прошедшая студеная зима стала казаться неким благом, по крайней мере, снег делал все кругом белее и ярче, а так – куда ни глянь – серо, темно-серо, темно-темно-серо, и никаких больше оттенков. Все цвета сливались в единый сумрачный. Вся земля была устлана грязным сырым удушающим ватным одеялом. Все небо затянуто тучами. Мрачно. Трудно дышать. Трудно мечтать.

Куратор от Центрального комитат ВКП(б) за работой органов Николай Иванович Ежов, щуплый, маленького роста, с черными блестящими, словно намазанными, тщательно причесанными волосами, застегнутый на все пуговицы аккуратно подогнанного френча, расхаживал по своему огромному кабинету, неторопливо и важно, подражая в этом любимому вождю. В углу стоял огромный стол, заваленный кипой бумаг. На столе стояла большая настольная лампа с круглым зеленым абажуром. Она одна освещала все пространство, придавая кабинету таинственный полумрак – Ежов не любил яркого света.

В центре кабинета застыл нарком НКВД Генрих Ягода.

Оба они были примерно одинакового роста, но распекавший Ягоду куратор ЦеКа казался по крайней мере на две головы выше съездившееся Ягоды.

Ежов обладал исключительной памятью и помнил все подробности до долей секунд разговор и мимику вождя в последний его прием. Ему понадобилось немало времени, чтобы проанализировать все эти доли, дабы понять – что же имел ввиду Сталин? Каких он ждет от него действий?

При всей своей определенной недалекости, Ежов был проницателен в одном – Сталин никогда просто так ни о чем говорить не станет. И прямо - тоже не всегда. Ему нравилось намекать на суть проблемы, а тот, к кому эти

намек и полунамек относились, сам был должен догадаться – чего хотел великий кормчий. И плясать отсюда. А уж эта пляска на финише покажет – угадал ли ты намек и заслужил благосклонность вождя или, не дай Господи, оплошал. Сталин не любил умников, но и не жаловал дураков. Ежов к умникам не относился, но и дураком в глазах Сталина выглядеть совсем не желал. Дураки переставали существовать для Сталина так же, как и умники...

Деликатность их беседы несколько не уменьшила опасений Ежова. Он мгновенно осознал – какую тяжесть взваливает на его плечи Сталин. Любой неверный шаг, да что там шаг, даже попытка этого шага могли отразиться на карьере, да что там на карьере, – на самой жизни Николая Ивановича со всей беспощадностью пролетарской диктатуры.

Его с одинаковой легкостью раздавит и сам Сталин, и расплющит Киров. Если он не угадает...

Ежов так и не пришел к пониманию желания Сталина. Но он понял – крайним в этом вопросе ему быть вовсе не стоит. Поэтому для начала необходимо прикрыть свой зад крайним, и пока насколько возможно потянуть время. Время – оно покажет – как ему надо действовать. Торопиться здесь – совать голову в петлю добровольно. Он даже представил лукавый и сожалеющий взгляд Сталина, печально кивающего на него, Ежова, стоящего с петлей на шее на эшафоте, затем поворачивающегося и с огорчением машущего рукой палачу – выбивай стульчик-то из под ног...

Николай Иванович содрогнулся, протер рукавом френча глаза, дабы прогнать видение, и устоял на торчащем неподвижном пнем Ягоду.

- Почему у вас мало информации об этой Драуле? Ваши люди в Ленинграде совсем обленились или профессионально бездарны?

Ягода вздохнул, кашлянул и переступил с ноги на ногу:

- У нее ничем не примечательная биография. Замужем. Любит мужа. Никто из соседей ничего плохого об их отношениях сказать не может. Тянет сама семью. Да еще старуху там параличную. Сейчас в больнице – собирается рожать.

Ежов недолюбливал Ягоду. Будучи сам нежданно поднявшимся до страшных высот власти, он считал его выскочкой и карьеристом, который при случае слопаёт и его, Николая Ивановича, если представится случай. Но такой случай он ему никогда не представит. Он сам сожрет Ягоду, если это будет ему выгодно, а с еще большим аппетитом схрумкает его если вождь отдаст непосредственный приказ. Ох, как бы он хотел получить такой приказ. Скрывая бешенство своих глаз, Ежов подскочил к столу и разметал на нем бумаги:

- Да что вы блеете! Это я все и без вас знаю. Тоже мне – какая ценная информация! Вы должны тщательнее присмотреться, вы слышите меня? - внимательнее присмотреться к семье этой Драуле. Кто ее муж...

Глава наркомата внутренних дел решил подобострастно перебить куратора:

- Ее муж – Николаев, родился 10 мая 1904 года в Петербурге, это самое – нынешнем Ленинграде. До 11 лет не ходил. Болел рахитом, два года пролежал в больнице в гипсе. Внешне – уродлив. Неврастеник. Был когда-то конторщиком, потом поступил в советское учреждение. Но в остальном – член партии, проверенный товарищ.

Ежов поскреб затылок. Он понимал, что контрой тут не пахнет, ну, совсем не пахнет, и затевать какую-то игру чрезвычайно сложно. Не хватало еще связаться с придурком, который наломает дров, а его блядская жена – тем более. Как тут работать! Он прошипел:

- Ну так поработайте осторожно с этим Николаевым, пусть он повлияет на свою беспутную жену. Или вас учить надо, как это делать? А? Мне что самому заменить вас и ваших лентяев?

Ягода не знал что ответить ему на этот вопрос. С его точки зрения агентура НКВД и так собрала все, что смогла собрать об этой чертовой семье Николаевых. Конечно, дай он знак, там бы подсуетились и насовали этой семейке такого компромата, что хватило бы на все статьи уголовного кодекса, но так вопрос ведь не стоял. И чего Ежов взбеленился? Ответить, впрочем, Ягоде не пришлось.

Раздался звонок вертушки. Ежов подскочил как ужаленный и опрометью бросился к телефону. Этот звонок вызывал в нем единственную безусловную реакцию. Мгновенно забыв о Ягоде и обо всем остальном, он разгладил френч, по-военному замер по стойке «смирно» и осторожно взял трубку.

- Ежов у аппарата, товарищ Сталин, - отчеканил он. - Да, так точно. Как раз здесь у меня товарищ Ягода, мы занимаемся вплотную этой проблемой.

Ягода и сам невольно подтянулся и замер точно в такой стойке, даже дышать перестал, только уши немного оттопырились, внимательно вслушиваясь в голос Ежова.

- Верно, товарищ Сталин, - чеканил дальше Ежов, покрываясь бледностью. - Есть предложение использовать Николаева, мужа этой..., он – проверенный член партии.

Возникла пауза. Сталин что-то говорил. Ежов слился с трубкой в единый силуэт, бледнея еще больше.

- Да, товарищ Сталин, правильно, товарищ Сталин, совершенно верно – ни к чему его использовать, надо щадить членов партии. Так точно, есть присмотреться к Николаеву, узнать его хорошо. Будет исполнено, товарищ Сталин. Мы сделаем все, чтобы сберечь имя верного сына нашей партии товарища Кирова от грязных сплетен.

Ежов положил трубку. В полной тишине медленно пошел вдоль кабинета, только скрип начищенных хромовых сапог нарушал эту нелепую тишину.

Ягода тихонько кашлянул:

- Значит, не использовать Николаева?

Ежов точно очнулся и заметил присутствие Ягоды. И заорал на него, не стесняясь:

- Глупое ваше предложение, ебрена мать. Чем вы только думаете? – он вскинул руки в изнеможении, показывая, с какими болванами приходится работать. - Как мы можем его использовать, толком его не просветив со всех сторон? Если мы не знаем – что знает он? Если мы не знаем, что он ест? Если мы не знаем, чем он дышит? Если мы не знаем с какими мыслями он идет писать? А если он наломает дров? Сами же сказали – псих. Или это я выдумал? Не забывайте, о ком идет речь? Или вам напомнить?

Ягода сглотнул:

- Я знаю о ком, товарищ Ежов.

- И вы думаете, товарищ Киров будет сидеть сложа руки и спокойно смотреть как вы у него под боком копаетесь? Он вас у-нич-то-жит. Вы и пикнуть не успеете. И мне вас совсем не будет жаль. Более того, все, и я первый, скажут, что вас в этом мире вообще не существовало. Вы это понимаете своей башкой?

- Так точно, - пролепетал Ягода.

- Предельно осторожно. Максимально предельно осторожно. Вы меня поняли?

- Так точно, – эхом отозвался нарком.

Ежов устал. Ему и самому нужно было разобраться во всем этом. Второй раз Сталин затрагивает эту тему. Неспроста, ой, как неспроста.

Николай Иванович качнулся, свет лампы отразился тусклым блеском на его сапогах.

- Да, вот еще что. Рекомендую вам в помощь Ленинградскому ОГПУ товарища Запорожца. Хороший чекист. Лентяйничать не будет. И голову имеет на плечах – ошибок не сделает. Думаю, такой человек будет очень кстати в Ленинграде.

Николаев прибыл встречать жену, родившую сына, при полном параде. Он надел костюм, который приберегал для исключительных случаев, купленный еще во времена НЭПа. Темно-желтый пиджак оттенял неумело, но с претензиями повязанный яркий синий в крапинку галстук. Круглое лицо Леонида сияло счастьем. Он стремился придать своей персоне важный вид, его просто распирало от собственной значимости. Этаким петухом он важно прошелся под окнами роддома, прежде чем зашел внутрь.

Драуле уже стояла в просторном фойе, выглядела она бледной и смущенной, и все не отводила взгляда от запеленатого ребенка.

Высыпавшие сюда же любопытные акушерки весело кричали Николаеву, как старому знакомому, поздравляя разряженного папашу с рождением ребенка.

Одна молоденькая акушерка вполголоса заметила подруге:

- Ишь, несуразный такой, дерганый, а мальчонку-то, хорошего сварганил.

Николаев не слышал и не видел никого, кроме Мильды.

- Мильдочка! Радость моя! Это просто замечательно! Дай я тебя поцелую! Ах, цветочек мой кумачовый...

Он поспешно подбежал к ней, обнял ее, смешно заскакал вокруг, размахивая руками.

- Это ж надо так! Это ж надо так! Это – знак! Это знак моей судьбы! Второй сын! Наследник великого отца! – он изогнулся и ласково посмотрел на малыша. - Вижу, весь в меня, ну точно вылитый юный Николаев. Он тоже будет настоящим коммунистом, как и его отец. Знаешь, Мильдочка, мы назовем его...

Драуле испуганно отстранилась:

- Только не каким-нибудь еще Марксом.

Николаев, опешив, даже перестал скакать и замер крючковатым изваянием:

- Что значит, каким-нибудь? Наш первый сын носит величайшее имя, и по праву. Не ожидал от тебя, Мильдочка такой глупости. Ну, это у тебя от родов. Да, так вот второе имя – тоже будет великим. Мы назовем его, мы назовем его, - он сделал театральную, и, как показалось ему весьма эффектную паузу, и, дурачась и кося глазом на прислушивавшихся толпящихся акушеров, пафосно изрек:

– Леонидом! В честь отца!

- Хорошо, пусть будет Леонид, - торопливо согласилась Мильда. И тут же, неожиданно для самой себя просительно сказала: - А хочешь, пусть будет – Сергей.

Леонид выпятил тщедушный живот, как бы говоря о своем негодовании в этой торжественной ситуации, в которой не место глупым бредням пусть и любимой, но женщины:

- Прекрати! Ну при чем здесь какой-то паршивый Сергей! Леонид! Это звучит гордо, какой-то писатель так говорил, забыл какой. Это будет новый знаменитый Николаев, как и его отец. Ах, да, ну, конечно ты же ничего не знаешь. Я тут себя не жалел, не спал. Не ел, но – сделал! Ради нашей партии, ради всемирного коммунизма. Я тебе говорил, что останусь в истории, что стану знаменит. Нет, нет, не надо неверия. Пока ты тут лежала, прохлаждалась, я задумал новую идею. Пока всего идея. Я не мог в такое время над ней сосредоточиться полностью, как я это умею. Но я ее уже оформил в записку и вручил своему руководству в Институте истории ВКП (б). Пусть читают. Пусть знают – кто такой Николаев. Там – гран-диознейшая идея. Знаешь про что?

Мильда, как ни странно, не согласилась. Обведя беспокойным взглядом фойе, она тихо попросила:

- Давай после. Я потом послушаю. Нам надо идти, малыш может простудиться.

Николаев не успел обидеться от такого явного отсутствия внимания, признав, что в чем-то жена права.

- Ах. Да, да, да! Какой я, право, рассеянный сегодня. Это от счастья, Мильдочка! Сын! У меня сын! Это знак. Таких совпадений не бывает так просто! Моя записка в институт. Какая там изложена идея! Жаль, что надо идти. У меня зуд такой тебе все рассказать... И – сын! Вот увидишь, какая

польза для нашей партии там, в идее. Меня оценят, и скоро. Партии нужны такие верные прогрессивные умы. Я предчувствую это. Да, еще, мать – в больнице. Я сумел ее туда пристроить, оно и тебе будет полегче....

Так, бормоча и размахивая руками, прыгая перед ней, даже забыв взять сына у Мильды в свои руки, он следом за ней выскочил на улицу.

Они так и пошли по улице. Николаев все то забежал впереди жены, то семенил сзади Драуле, так же отчаянно размахивая руками, словно объясняя ей что-то очень важное. Он кивала рассеянно головой и осторожно несла ребенка.

Слегка разочарованные акушерки потянулись из фойе.

Только две акушерки все еще смотрели им вслед.

Одна, пожилая, качая головой, говорила другой:

- Ишь, размахался-то. Ополоумел от счастья. А цветы бабе подарить так и не догадался...

Ягода был человеком самолюбивым и мнительным. Эти его качества уживались с его слабыхарактерностью, от которой он страдал не меньше, чем от уязвленного самолюбия. Натура недалекая, но соображающая, что слепое повиновение и исполнение приказов вышестоящего начальства является основой его благополучия, ныне Ягода пребывал в прескверном настроении. Впрочем, его настроение испортилось еще тогда, когда ему была доложена информация о связи Кирова и какой-то латышки. Изначально эта, совершенно не нужная для его покоя информация, повергла его в величайшее смятение. Как высокопоставленная номенклатура, входящая в орбиту кремлевских дел, он сразу понял, как ими ему лично бедами может грозить обладание такой информацией. Киров – это не Троцкий, это любимец народа и первый друг Сталина. Тут даже не знаешь – где и как ты угодишь в такое полымя, что и пепла не останется. Скрывать эту информацию тоже было нельзя, она могла придти другими путями к другим высоким лицам и даже самому Хозяину, а заодно бы и выяснилось, что Году об этом своевременно информировали, смолчал. Такое могло стоить карьеры незамедлительно. Поэтому он и поступил, как ему казалось, мудро, спихнул эту информацию Ежову, как куратору. Таким образом, он невольно вовлек Ежова в это дело, ибо Ежов обязан был доложить Сталину, и выбора у него не оставалось, ибо если бы он замолчал эти сведения, то оказался бы в том же положении, что и Ягода, и это тоже могло стоить ему карьеры.

Вне сомнения, Ежов оценил поступок Ягоды, подставившего его под удар Хозяина. И, само собой, Ежов этого «подарка» не забудет. Но, так или иначе, это все же меньшая из возможных бед, окажись Ягода с такой опасной информацией в одиночестве.

Последний разговор с Ежовым, звонок Сталина убедили его в правильности своего поведения. Хочешь не хочешь, но теперь все решать придется Ежову, а Ягода – маленький исполнитель руководящей воли. И не ему проявлять инициативу, и взваливать на себя страшнейшую ответственность. И это его даже очень устраивало, несмотря на то, что теперь

он приобрел явного недруга в лице Николая Ивановича Ежова. Но уж лучше пусть врагом будет Ежов, нежели Киров. А, если вместе с ним и сам вождь, то...

Но настроение было нехорошее. Ежов выполоскал его как мальчонку, даже не скрывая своего презрения. И Ягода страдал. И он не мог сдержать своих эмоций даже спустя неделю, когда, в своем кабинете, отчитывал прибывшего по его указанию начальника Ленинградского ОГПУ Филиппа Медведя.

Мелкими шажками он бегал вокруг высокого Медведя, а тот смотрел исподлобья на сердитое начальство, и только желваки гуляли по щекам.

- Ты мне тут Ваньку не валяй, - орал Ягода. - Ты – большевик, и карающий меч партии, а не растяпа какой-нибудь. Я здесь не в бирюльки играю. Дело – политической важности.

Он подскочил к молчащему Медведю и погрозил пальчиком перед его носом, для чего ему пришлось встать на носки сапог.

- Тебе сказать, кто им интересуется или сам докумекаешь? Из-за вашей тупости и разгильдяйства меня по всяким коврам таскают...

- Мы работаем... - выдохнул Медведь.

Ягodu передернуло от этих слов, воспринятых им как вызов ему, как несогласие с ним, как некий бунт. Его мало не затрясло. Его крик сорвался в тонкий фальцет:

- Ты работаешь? Бабе на кухне болтай про это. Кто – я или ты - допустил, чтобы всякие шлюхи оказывали плохое воздействие на первого секретаря Обкома? Какая-та латышская сука охмуряет – и кого? А местное ОГПУ пупы греет на солнышке. Оно, мол, так и надо.

- Я не имею права вмешиваться в дела первого секретаря Обкома, - еще больше нахмурился Медведь.

Ягода отскочил в сторону. Так он видел всю фигуру Медведя, и не надо было задирать голову, чтобы ему что-то втолковывать.

- А ты, в мать твою, и не вмешивайся. Ты же имеешь вход к нему, слышал, что приятели вы с ним – так какого же хрена ты мне тут долдонишь еще. По-приятельски поправь его. Потолкуй по-мужски. Или – удали эту бабу к едреной матери. Что пялишься? Когда узнал неладное – не мог ей грабеж с убийством сотворить. Что у вас в Ленинграде нет темных улочек? А? Поскучал бы наш товарищ, прослезился, да позабыл про всю эту бодягу. А теперь вон как зашло далеко...

- Я не счел нужным этого делать, - пробормотал начальник Ленинградского ОГПУ..

- Он не счел нужным, - вскинулся Ягода. - Ах, какая милашка! Мы строим коммунизм, и здесь не до соплей. Ты чекист, а не слюнявая баба. Сказочки мне тут рассказывает. Ты даже не счел нужным меня вовремя проинформировать обо всем. Все – баста! Этому вопросу – первостепенное внимание. Разрабатывайте семью этой латышкой твари, чтобы все там были повязаны нашими ниточками, и чтобы ты ими дергал, а не... Ну, и коль ты так загружен, то тебе в помощь дается новый заместитель.

Ягода подбежал к стоявшему на столе телефону, нервно схватил трубку и, тяжело дыша, прохрипел:

- Запорожец в приемной? Попросите сюда...

Дверь тут же открылась и кабинет зашел стройный среднего роста человек с неподвижным взглядом. Медведь мрачно его осмотрел. Тот в свою очередь прощупал тяжелым взглядом Медведя.

Ягода кивнул:

- Вот твой новый заместитель – Иван Запорожец. Знакомьтесь.

Медведь и Запорожец холодно кивнули друг другу, не подавая рук.

Мильда Драуле понемногу пришла в себя. Заботы о малыше ненавязчиво, но твердо убирали все остальные мысли и чувства. Порой она вспоминала, что совсем скоро предстоит возвращаться на службу в Смольный, и она вздрагивала. Но тут же, словно спасая ее от этой неизбежности, раздавался призывающий рев малыша, заставлявший повременить размышлять о чем-то другом, и она спохватывалась и даже рада была, что он отвлекает ее. О Кирове она старалась совсем не думать, убеждая себя, что между ними все кончено, и что сын Леонид (все же назвали в честь Николаева) останется при ней как память о прошедшем и невозвратимом времени. И только баюкая свое чадо, она предавалась сладким воспоминаниям, детально вспоминая его слова, его объятия, его тело, и переживала все заново, как старую сказку.

Вот и сейчас она сидела в комнате большой коммунальной квартиры, которая в будние дневные часы почти что вымирала. Две-три старухи привычно шаркали по коридору, шушукались на общей кухне в ожидании притаившихся с работы горластых и сварливых, уставших и подвыпивших соседей, которые устроят такой же обычный бедлам. Но это будет вечером. А пока можно снова побаякать Ленечку...

Ленечка больно прикусил грудь, и она тихо вскрикнула. Но разве это этого так внезапно забило ее сердце? Толчки нарастали, и она испугалась. Что-то не так. Она интуитивно почувствовала, что сейчас должно что-то произойти. Мильда не знала, что именно, но должно, сердце настойчиво вещало ей. Она затаила дыхание.

Ну, конечно же, она слышала звонок в дверь. Да мало ли к кому приходят... нет, она уже предельно отчетливо знала – это к ней. Муж на работе, и у него есть свой ключ. К старухам – вряд ли кто сунется. Нет, нет – это к ней. Может быть с работы, потребуют, чтобы немедленно выходила. Может проведать кто... Она торопливо прикрыла грудь и боязливо уставилась в дверь.

Она услышала уверенные шаги по коридору. Ее бросило в пот – она хорошо знала этот звук, такт походки – стремительный и энергичный. Драуле вздрогнула и привстала, с дрожью посматривая на дверь. Слышно было как в коридоре соседка говорила – Вот энтая их дверь будет...

Шаги остановились. И тут же без паузы, без топтания перед дверью – дверь распахнулась.

На пороге стоял Киров.

Он уверенно прошел в комнату, прикрыв дверь. Прошел в угол, молча посмотрел на парализованную мамашу Николаева, покачал головой. Обернулся. Стоя, уперев руки в бока), так же молча он смотрел на нее и на ребенка. Толчки сердца оборвались. Казалось, оно вообще остановилось, это сердце.

Мильда выжидающе смотрела на Кирова. Ее взгляд выражал отчаяние и смелость. Она еще не сознавала, что здесь он, зачем здесь он, почему здесь он, но это был он, и ни о чем больше думать она не смела.

- Бабка, что, соображает еще? – спросил Киров, нахмурившись, словно это была его главная цель – узнать, что там с какой-то никчемной бабулей. Но говорил он властно, решительно, как бы подчеркивая – времени у меня мало, отвечай быстрее. Это была даже какая-то нарочитая властность в его голосе, и только куда позже Мильда догадалась, что таким образом он скрывал свое смущение.

- Нет, - она отрицательно помахала головой.

И тут, наконец, взор Кирова уперся в малыша, засыпавшего на ее коленях.

- Сын?

- Сын, прошептала Мильда.

- Чей?

- Мой, - еще тише, твердо сжав губы, произнесла она.

- А еще? – Киров требовал ответа, без лжи и промедления.

- Зачем тебе... вам... это знать? – Мильда опустила глаза и сжалась.

Киров подошел к ней поближе, вщял за подбородок, поднял ее лицо и жестко сказал:

- Мне – надо знать.

И тут она словно очнулась. И вдруг забыла кто перед ней по рангу. Перед ней был любимый мужчина, не вспоминаявший о ней тогда, когда она больше всего этого хотела. Пропал, и все тут. И вдруг пожаловал. Она мгновенно разгорячилась, и куда девалась боязнь! Перед Кировым из робкой безвольной до этого бабы вдруг предстала женщина, удивительно похорошевшая в своем гневе:

- Сейчас – захотелось? А что ж раньше не поинтересовался, когда я тут с ума сходила, идеи мужа полоумного выслушивала, в роддоме валялась, кстати, на сохранении. И ты... вы... ни разу... ни разу... Мой сын.

Не каждый мог позволить себе так говорить с самим Кировым, ой как не каждый. А она имела на это право – как мать. И он даже не обиделся, не взъярился. Он недовольно ухмыльнулся, жесткости в его словах и глазах поубавилось.

- Давай без истерики. Не мог я, это понимать надо. Я не на копне валялся да в небо плевал, мы новую страну строим. И я – прораб на этой стройке. И не о том сейчас речь, - просветил он незадачливую Мильду, и тут же перевел речь на другое, на то, что его волновало. - По срокам, я подсчитал, совпадает, ну, как мы тогда на острове в санатории.

Мильда тоже криво ухмыльнулась:

- Подсчитал...

Он присел на корточки, так что их глаза оказались рядом, и он смотрел в ее глаза настороженно и взыскующе:

- Только правду, прошу. Мой?

И она больше уже не сдерживалась, не могла больше сдержаться. Драуле закусил губу, ее начинает трясти, слезы полились из ее серых уставших глаз. Она приникла к плечу Кирова.

- Твой, дурачок ты мой строительный. Чей же еще...

Киров отпрянул назад, едва не свалившись, откинул голову, встал и посмотрел на Драуле так, словно его специально обманывали. Затем крепко стиснул ее плечи и попросил умоляюще:.

- Повтори.

И она засмеялась сквозь слезы.

- Твой, твой, твой...

И услышала его восторженный шепот:

- Мой! Сын... У меня сын. Мой первый ребенок... Мой сын... Да знаешь ли ты, женщина, что ты мне подарила! Моя кровь – вот она! Мой первенец, наконец-то...

Киров внезапно хватанул малыша с ее колен и высоко поднял над собой. Тот от страха начал хныкать.

Мильда с тревогой вскочила:

- Ты же его раздавишь, медведь такой.

Киров и ухом не повел, словно не слыша и не замечая ее. Его глаза увлажнились, голос дрогнул:

- Я? Его? Да – он из нашей породы, костриковской. У нас кости крепкие. Пацан ты мой, ненаглядный, - он смачно поцеловал барахтающегося ребенка в ножку. - А! Каков?

Осторожно опустив, он передал бережно ребенка Драуле.

- Береги его. Ни пылинки чтоб не упало. Слышишь?

Она кивнула.

- Муж то что? Подозревает? Нет? – ощерился Киров.

- Считает, что это – его сын. Радуется. В свою честь даже назвал – Леонидом.

Он небрежно махнул рукой:

- Ерунда. Пустое. Пусть радуется. Если что, если только зашипит на него – разотру об стенку.

- Не зашипит... - спокойно ответила она. – Он любит Ленечку.

Киров оглянулся по сторонам.

- В таких условиях вы больше жить не можете. Ребенок не должен жить вот так. Скоро вы переедете, это – моя забота. И – никаких возражений, - он посмотрел на часы. - Все. Мне пора.

Он быстро направился к двери, с порога повернулся. И она почувствовала тот его открытый и добрый взгляд, который был тогда на острове.

И его слова точно осыпали ее цветами:

- Я очень скучал по тебе. Это – правда.

А затем наступил какой-то дивный сон. Коммунальная квартира гудела завистливо, недоуменно, но с потайной радостью – съезжает этот тихий псих со своей нерусской супругой и с остальным семейством в придачу. Языки чесались и не уставали. С опаской говорили, что был тут у нее какой-то важный мужик, правда, кто – до конца было неизвестно, подслеповатая старуха к общему разочарованию не распознала – кто именно. Но и так было очевидно – что, поди, из самого Смольного, откуда же еще, если там эта бестия работает. Но особо распространяться на эту тему не хотели, уши имел каждый, и кто знает, сейчас ты потреплешься, а завтра, глядишь, и еще какая из комнат освободится из-за подсуетившегося где надо соседа. Времена такие нынче, что косточки перемывать тоже надо с умом.

Грузчики шумно таскали неказистую мебель, матом отгоняя в сторону мешающих обитателей коммуналки. С улицы в коммуналку и обратно бегал взъерошенный и совершенно счастливый Николаев, со знанием дела он распорядился недовольными грузчиками, усиливая их недовольство еще больше.

Наконец Николаев забежал в опустевшую комнату. Мильда, одетая, стояла с малышом на руках и ждала его последних указаний

Леонид довольно потер руки:

- Так, теперь, кажется все, он обвел равнодушным взглядом комнату, словно его ничто с ней никогда не связывало. - Прощай, комнатуха! Ну, что я тебе говорил? А?

Мильда недоуменно посмотрела на него:

- Что?

Николаев этаким павлином обошел ее, и снисходительно, делая скидку, что все же она женщина, на всякий случай переспросил:

- Неужели ты так ничего и не поняла?

- Нет.

Он обвел взмахом руки пространство комнаты. Этот красноречивый жест, по его мнению, должен был даже тупице втолмачить очевидное:

- Вот это все. Это же не просто так. Это все – наша родная советская власть! Меня оценили! Это все – плоды моего проекта! Р-раз, и бабахнули – целую трехкомнатную! А? За какие заслуги? То-то! Молись на своего мужа, слава уже стучится в дверь. Сегодня – квартира! Целая трехкомнатная, ух, конфетка! Завтра – повышение по работе, общественное признание. Шепот за спиной – вон, сам Николаев пошел...

Драуле заморгала глазами, ей стало смешно и немного стыдно, она не нашлась, что ответить, и потому согласно кивнула:

- Да... молодец, ты... Леня.

Он выслушал похвалу с небрежностью патриция, привыкшего к преклонению толпы.

- Да, знаю. Видишь, как меня ценят. А? Как лучшего. И иначе – что? За просто так квартиры не выделяют. Только лучшим. Вот какой я у тебя...

Она не стала переубеждать его, да и зачем.

- Да, Леня, ты – лучший...

Николаев убежал из комнаты, размахивая руками. Она услышала его визгливый голос, ругающий грузчиков.

Драуле улыбнулась, баюкая малыша, и нежно поцеловала его в щечку.

Ей теперь казалось, что счастье зацепило ее своим крылом, и что отныне у нее начнется настоящая увлекающая жизнь, в которой есть место искренней, пусть и запретной любви, и эта любовь отныне будет ее путеводной звездой.

Она не знала, что именно этот день и был по-настоящему последним счастливым днем ее жизни.

Глава 3

Незаметно вступил в свои права 1933-й год.

Страшным выдался этот год. Неурожай выкосил среднюю полосу России, прошелся по всей Украине, захватил Кавказ... Как оказалось, все яростнее поднимала голову недобитая гидра контрреволюции, о чем ежедневно кричала, предупреждала о бдительности и требовала суровости к врагам советская печать. Все оглушительнее становились на этом фоне славословия в адрес управляющей и направляющей большевистской партии и ее лидеров.

Год, сломавший многие судьбы.

Год, вошедший в учебники советской истории, как год созидательной работы, которую должен был венчать партийный съезд победителей.

Но плавное временное течение этого года было равнодушно к смятению страны, принудительно превращавшуюся в пролетарскую империю. И все признаки этой империи уже становились осязаемыми. Дни шли за днями, месяцы за месяцами. И сложно было осознать, почему же сегодня становится чуть хуже, чем вчера, почему все дальше отодвигается заманчивое светлое завтра, которое, не покладая рук и хребтов, воздвигали, воздвигали, воздвигали...

Впрочем, тянущие лямку первых строителей социализма люди слишком уставали от всех реалий, чтобы об этом задуматься. Ну, а над теми, кто все же пытался задумываться, внезапно и почти всегда вовремя возникал образ карающей безжалостной руки.

Но это были штрихи, малозаметные да и вообще невидимые на общем фоне стойкого энтузиазма и веры в большевистскую затею. Надо было жить и привыкать к этому.

И не за горами уже маячило время, когда надо было торопиться жить.

А пока...

Пока все было размеренно, утоптанно, буднично, спокойно. И не очень-то верилось в надвигающиеся откуда-то тучи. Хотя они уже возникли на краешке горизонта жизни наших героев и устремились к ним.

Отныне их захватила неумная непреходящая жажда быть вместе. И все тяжелее становилось соблюдать установленные правила поведения и приличий, все сложнее оказывалось сохранять в тайне свои порывы, настроение, стремления.

Киров окончательно обворожил ее. Казалось бы, такой практический повод как квартира, он, тем не менее, оказался для Мильды сильнейшим благотворным потрясением. Для обычного советского человека получить отдельную квартиру представлялось почти что ирреальным делом. Это было запрещенное чудо, доступное единицам. Три четверти города жило в коммуналках, прозябая в постоянных склоках и крохотных комнатухах. На отдельную претендовали либо партийные функционеры, либо известные советские работники, либо публичные и завоевавшие себе такое право недюжинными талантами личности. Ни к одной из этих категорий Драуле не относилась. Но она получила эту квартиру как подарок. И она знала, что это – самый дорогой подарок. Безусловно, Кирову не стоило особого труда выделить квартиру кому бы то ни было, но это он сделал ради нее – и она понимала его поступок, и была покорена им.

Она отвечала любому его желанию, даже сама упреждала его желание и дарила свою страсть, как могла и умела. Чаще всего для этого избирался кабинет Кирова, и время, когда никто не мог им помешать. И хотя это были, как правило, мало похожие на изливание искренности и чувств интимные сцены, они довольствовались и этим, понимая, что недосуг им предаваться уверениям в любви, подготовкой к ее взрыву, наслаждаясь прелюдией любви не меньше, чем самой любовью. Им было отказано в прелюдии, либо их любовь была запретной. Им вообще было во многом отказано, и это был их общий крест. Потому они отдавались стихии своих грешных чувств тайно, но от этого куда неистовей, чем те, кто имел легитимные права на это святое чувство.

Мильде поначалу только было стыдно приходить домой после бурных и ярких свиданий с Кировым. Она была радостна и ее возбуждение так или иначе перекидывалось на отношения в семье. Но занятый собой Леонид не замечал ее состояния, а если невзначай обнаруживал ее не совсем обычное поведение, ее неестественный блеск глаз, взбудораженность и эмоциональность, то принимал это все на свой счет, и Мильда не разубеждала его, отдавая ему остатки своей уцелевшей энергии и не остывших от недавних крамольных и сладостных объятий чувств.

Ее любовь к Кирову, проецировавшая по инерции и волей обстоятельств на Николаева, который, как законный муж, становился как бы ее последним объектом в те случаи, когда у нее была связь с Кировым, приводили Леонида в блаженство. Он убеждался в том, что Мильда безумно его любит, и это придавало ему сил и фантазий, и он мог ночью вскочить с кровати и мчаться

за стол, наспех исписывая страницы школьных тетрадей осенившей его новой идеей. Мильда не ворчала на него, она уже привыкла к сумасбродствам мужа. Но после того, как она дарила себя мужу, чувство стыда за свою греховность, уходило.

Со временем она привыкла к такой раздвоенности в своей жизни, и уже почти совсем не смущалась того, что она делает и как она неправильно, не по-советски живет.

Между тем, тучи уже приблизились.

Леонид Николаев сидел за столом в позе Наполеона и читал – рука с книгой откинута, голова горделиво приподнята. Время от времени его лоб прорезали морщины, и пальцы второй руки, лежащей на столе, начинали выбивать дробь.

Мильда молча чистила картошку и думала о своем. И эти думы уносили ее так далеко, что она даже забывалась, что стоит на кухне, а не на волшебном острове, у берега которого над светлой волной колыхается лодка. От сладостной грезы ее оторвал вопль мужа. Она вздрогнула и мало не порезалась.

- Нет, ты только посмотри на них. Вырожденцы! Интеллигентская помойка! Что пишут, что пишут! «Самобытность русской культуры и русского этноса всегда опирались на народный дух и традиции, и никогда наша культура не навязывалась другим...» Это как понимать! Да это же вопиюще несовместимо с марксизмом, с пролетарским ин- интернационализмом...

Он вскочил и, волнуясь, затопал по кухне, бормоча себе под нос – Это как же понимать!

- Леня! Тише, разбудишь сына, - попыталась урезонить его Мильда, бросив картофелину в раковину и мягко положив ему руку на плечо. Но Николаев отдернул плечо и недовольно буркнул:

- Пусть привыкает сызмальства к горнилу партийной борьбы, как его отец!

Мильда была слишком далека от переживаний мужа, и не понимала, что, собственно говоря, могут вызвать какие-то строки в какой-то книге сейчас, когда для нее это совсем неважно.

- Да что ты вскипятился-то? Ну, написано, подумаешь. Поправь товарища... - примиряюще сказала она.

Лицо Леонида приняло некий страшноватый сизый оттенок, и сам он надулся непередаваемым презрением, то ли к словам жены, то ли к прочитанному, то ли ко всему вместе взятому:

- Товарища! Эти господа нам не товарищи! Это, - он посмотрел на обложку. – какой-то Бе-рдя-ев...

- Так что ж ты его читаешь, если не нравится?

Николаев с сожалением посмотрел на жену:

- Это сборник русской философской мысли, я взял его в нашей спецбиблиотеке, думал – а вдруг там что откопаю созвучное моим идеям. И – нате! Попался бы мне этот гад Бердяев... Какая отсталость! Какой дремучий интеллигентшишка, а еще туда же – философ. Нет, я окончательно убедился – надо читать единственно верную философию, изложенную в гениальных трудах Сталина. А с этими выродками мы построим мировой коммунизм – как же! Несокрушимость сталинско-ленинской материалистической философии еще больше светит нам, как, как...

Ссостояние нахлынувшей экзальтации не давало ему возможности подыскать единственно верное и доступное для ума Мильды сравнение. Впрочем, он не успел придумать сравнения

Раздался стук в дверь. Достаточно тихий, даже вороватый, и совершенно неожиданный.

Драуле и Николаев переглянулись. Мильда показала взглядом на нож и картошку. Николаев спохватился и направился к двери.

- Кто там? – визгливо крикнул он.

За дверью, однако, было тихо.

Николаев раздраженно открыл дверь. На лестничной площадке тоже было пусто. Он передернул плечами, осмотрелся по сторонам, не заметив ничего особенного. И тут его взгляд упал вниз на лежащий у самого порога конверт. Конверт лежал в самом деле очень аккуратно, точно его не впопыхах бросили у двери, а осторожно прислонили, чтобы никто случайно не задел и не откинул.

Николаев скорчил мину, непонимающе почесал ухо и поднял конверт. Надпись красноречиво свидетельствовала, что адресом не ошиблись – на конверте было четкими прямыми буквами написано «товарищу Николаеву. Лично».

Он снова недоуменно посмотрел на конверт, закрыл дверь, прошел в комнату.

Усевшись на стул, он резко вскрыл конверт, и оттуда выпал лоскуток бумаги. Николаев поднял его и прочел.

Вы – честный человек и настоящий член партии. Вы заслужили право на любовь и уважение. Потому требуйте от вашей жены – любви и уважения к себе. Обратите на это внимание. Ваш друг.

Николаев снова, на этот раз вслух перечел письмо. Он ничего не понял. Еще не остывший от возмущения какой-то бердяевской философией, он не мог переключиться на другую информацию, тем более, такую неопределенную и отстраненную от марксистско-ленинской, единственно верной...

Он был выше бытовщины. Все непонятные вопросы, связанные с бытом, он возлагал на жену, это было ее дело, доступное для ее уровня развития, несмотря на то, что она работала секретарем самого товарища Кирова. Николаев снисходительно считал, что даже выделившаяся в карьере из общей женской среды его жена все равно остается всего лишь женщиной, то есть существом, которому определен свой участок деятельности, свое место,

суть которого – надежный тыл, чтобы мужчина, нацеливался на грандиозные высоты без ненужных забот о проблемах в тылу. Такие путаные мысли были ему ясны, хотя вряд ли бы кому-то он мог бы их объяснить. Но он понимал самого себя и этого было достаточно.

Потому, не вбивая в голову эту ахинею, в которой он ничерта не понял и не стремился понять, он вбежал на кухню, держа в вытянутой руке конверт с письмом.

- Кто там был, Леня? – ничего не подозревая спросила Мильда.

Николаев протянул ей конверт:

- Вот, какая-то ерунда. На, прочти.

Драуле осторожно взяла у него конверт, вытащила лоскуток бумаги, и когда его вытаскивала, ей уже защемило на сердце. Она поняла, что там кроется что-то нехорошее, гадкое, и что такое рано или поздно должно было произойти. Она быстро прочла текст и побледнела.

Муж стоял рядом, притопывал от нетерпения тапочком на босой ноге и ждал ее реакции:

- И что ты можешь сказать?

- Н-не знаю, - сконфуженно произнесла она и отвела взгляд в сторону, она не могла видеть в эту минуту его глаза. - Кто это принес?

- Не знаю, лежало под дверью. Так что ты можешь сказать?! – с еще большим нетерпением и требовательностью допрашивал он ее. И в его тоне она почувствовала угрозу дознавшегося или догадавшегося обо всем мужа. Ей стало мутно и она опустилась на стул:

- Господи! Леня...

Леня сорвался с места и по-петушиному начал бегать кругами по кухне, мало не сбивая ее вместе со стулом. Он выкрикивал в каком-то злорадном упоении:

- Зато я знаю! Все понял! А? Гляди сюда!

Драуле в замешательстве и испуге смотрела на него, не зная как себя вести, о чем говорить. Все оказалось слишком неожиданно.

А Николаев возбуждался все больше, он наступал на нее, и следующий его вопрос был поистине зловещ:

- Кто я? По-твоему – кто? – зашипел он.

- Т-ты... муж м-мой Леонид Васильевич Ни... - пролепетала Мильда, боясь вымолвить еще что-либо.

Николаев в бешенстве топнул ногой так, что тапочек слетел с ноги и, отскочив о стены, плюхнулся в ведро с отходами.

- Какая святая простота! Мильда! Ты что – недотепа? Неужели непонятно! Какая же мразь, какая сволочь...

Драуле сидела, низко опустив голову в плечи. Каждое его слово било ее наотмашь. И как ни горько было слушать все это, она понимала, что он прав, прав сто раз.

А Николаев, между тем, уже просто бесновался. Его речь стала прерывиста, над нижней губой повисли слюни. Он нервно и грубо схватил ее за плечи:

- Смотри сюда, я тебе говорю! – она робко посмотрела снизу вверх на его перекошенное злое лицо. - Перед тобой самородок, талант. Может быть, даже гений. Человек, готовый жизнь отдать ради партии. Этой вот головой творятся великие проекты, последний из них на изучении у моих начальников. И что же?! Как все мерзко кругом! Находятся завистники, и – на тебе, подсовывают писульку. Стоп, Николаев! Уймись! Ты лучше за бабой смотри на кухне, и не ворочай великих дел! А, каково? Вот они – начались козни моих врагов. Да, я предвидел это. Борьба не утихает. Это все происки врагов – моих и Советской власти.

Мильда практически совсем не поняла ничего из слов своего мужа, кроме последней фразы. Он вообще говорил что-то не то и не о том. Она удивленно переспросила:

- Каких врагов, Леня?

Но Леня уже не слушал ее. Он был в новой, только что додуманной им ситуации, которую его фантазия уже нарисовала с предельной ясностью. И он жил в ней, привыкал к ней и ощущал себя в этой ситуации. Он упивался собой, он рвался в бой:

- Да, предвидел. Будь ты вошь – никто тебя не заметит. Но как только человек начинает возвышаться над толпой, все – начнут плевать в него и грязью вымазывать. Все великие прошли через это. И выдержали. И я выдержу. Я – выше этой суеты, этого мышинного писка. Я – коммунист! Им не удастся меня своротить. Я не отступлюсь от своих идей. Ишь, закопошились! А я – посмеюсь над вами. Вот вам, вот вам!

Николаев на глазах изумленной Мильды порвал на мелкие куски конверт и письмо и бросил в мусорное ведро. Его трясло от гнева и от жажды свершений.

Мильда поднялась, подошла к нему, нежно обняла и стала гладить по спине.

- Успокойся, Леня, успокойся, забудь... Ты в самом деле будешь великим, твое имя останется в истории.

Он тут же обмяк, почувствовав ее прикосновение, которое всегда умиляло его и покоряло. Он еще продумает эту ситуацию, вызванную подметным письмом замаскированных врагов, но в следующий раз. Ему захотелось спать, он слишком много перенес сегодня. Он закрыл глаза и прошептал, как ребенок, которого любят и прощают ему все:

- Правда, ты – веришь? Да, Мильдочка, славная моя...

Он порывисто обнял ее своими длинными руками и признательно, истово веря в свои слова, как клятву, произнес:

- У меня партия и ты, самое святое в этой жизни...

Мария Львовна Маркус, закутавшись в шерстяную шаль, сидела в глубоком кресле и читала Толстого. В просторной квартире ощущалась прохлада, хотя все окна были основательно проконопачены, и никакого сквозного дуновения через них не проходило. Просто Марии Львовне что-то

нездоровилось, особенно почему-то зябли ноги, несмотря на то, что ноги были заботливо укутаны шерстяным пледом.

Домработница, стараясь не шуметь, тихо и старательно вытирала пыль со стоящего в углу старого шкафа.

Прямо-таки сонную тишину нарушил внезапный звонок телефона. Мария Львовна едва не выронила книгу из рук, домработница ойкнула и подскочила, будто наткнулась на колючку.

Домработница взглянула на Марию Львовну, уловила выражение ее лица и стремглав понеслась к телефонную.

Вскоре она закричала:

- Мария Львовна, вас!

Жена Сергея Мироновича Кирова неторопливо поднялась с кресла. Домработница, дебелая озорная и некрасивая бабенка (Маркус не нравились симпатичные домработницы, хотя Киров их обычно никогда в квартире не встречал, ибо тем было велено работать так, чтобы не мозолить глаза первому человеку города и области, просто Маркус при симпатичной женщине почему-то чувствовала себя ущемленной) весело прокричала вслед:

- Мария Львовна, я вроде все закончила. Могу я пораньше уйти, а то у подруги день рождения.

- Иди, иди, душечка, - Мария Львовна махнула рукой.

- Спасибоочки, Мария Львовна, - пропела домработница, и побежала на выход.

- Слушаю, Маркус, - подняла трубку Мария Львовна, слыша как стукнула закрывавшаяся дверь.

В трубке было тихо.

- Я вас слушаю, - спокойно, но с еле уловимым раздражением сказала Мария Львовна.

И тут в трубке раздался незнакомый ей скрежещущий, как гвоздем по стеклу, очень неприятный мужской голос. От этого голоса на нее повеяло холодом:

- Ваш муж имеет любовницу и ребенка от нее.

Мария Львовна непроизвольно сжала кулак и часто задышала, голову точно зажало железными тисками. Она строго спросила:

- Вы знаете – куда вы звоните?

Тот же голос не изменил ни оттенка. С той же скрипучестью он повторил:

- Мария Львовна, у вашего мужа есть любовница и ребенок от нее.

Мария Львовна тоже не меняла интонаций. С ледяной учтивостью и как факт, не нуждающийся в доказательствах, она бросила в трубку скрипучему незнакомцу:

- Вы – враг. Настоящий враг Советской власти. И жаль, я не вижу вашего подлого лица. Мой муж – большевик, честный человек, великий человек, понятно, мразь?

- Спросите его. Пусть и ответит вам как – честный человек, - услышала она в ответ.

Маркус бросила трубку. Пошатываясь, прошла в комнату, и тут выдержка и силы покинули ее. Невидимый и ужасный кнут огрел ее тело, и оно содрогнулось от конвульсий. Она схватилась за взорвавшееся и тут же исчезнувшее сердце. Через силу она позвала домработницу, не сразу вспомнив, что сама отпустила ее, и той уже и след простыл. Слабея с каждой секундой, закусив до боли губу, она все же добралась до кресла, и в изнеможении упала в него и застыла, словно прижатая к нему страшным невидимым прессом.

Ближе к вечеру ей стало немного легче. Боль вроде бы немного отпустила, и внутри чуть ослабла хватка стальных холодных щупалец вокруг сердца. Она стала дышать глубоко и осторожно, потихоньку водя ладонью вокруг левой груди. Ее изумило и расстроило такое проявление слабости тела. Она всегда полагала, что сильна духом и сильна физически, и вот – на тебе: какой-то звонок какого-то негодяя, и она едва ли не рассталась с жизнью.

И все же, пульсирующее толчками сердце с каждым новым ударом вызывало в памяти неприятный скрежещущий голос, и его (это она почувствовала по наглости и интонации говорившего) уверенность в том, что он ей сказал. И особенно эта фраза – спросите его сами, такого честного. Эта фраза теперь держала ее в напряжении, и она должна была поставить точки над всеми «и». Она не позволит пятнать его имя и свое имя. Он должен разубедить ее. Полностью. Чтобы никакому подонку было неповадно звонить ей сюда и лить грязь. Она дождется! Обязательно. И это желание выяснить правду поддерживало ее, ослабевшую и растерянную женщину.

Охваченная своими соображениями, анализируя поведение мужа за последнее время, ее вдруг осенило – а кто бы мог позвонить по телефону сюда, по домашнему телефону, телефону первого секретаря обкома, который простому смертному не даст ни одна телефонистка на коммутаторе. Эта мысль спутала ее, и она потеряла нить размышлений. Но все же она дождется мужа, не вставая и вообще не двигаясь, даже если ей придется торчать в этой проклятом кресле сутки, неделю, месяц...

Киров вернулся домой поздно, крайне измотанный. Весь день, как и всю прошедшую неделю, он ездил по колхозам области, инспектируя их работу. Задача была одна – максимально выжать из колхозов хоть еще один лишний килограмм зерна, мяса, литр молока. То, что он видел в колхозах, угрюмые лица колхозников, директора, которых он накачивал, не сдерживаясь и не церемонясь, его удручало. Дела шли скверно, посевная прошла ни шатко, ни валко, несмотря на все бодрые реляции. И даже его энергия здесь пасовала. Он срывался, грозился отдать под суд лентяев и тупиц, но от этого лучше не станет. Конечно, область и о себе должна заботиться, но ведь надо было думать и о стране. А местные колхозники и их руководители, прекрасно понимая, что дай им Господи, хоть самим как-то выкарабкаться, хоть что-то оставить на свои рты, не очень хотели делиться. Они словно

предчувствовали, что придет неурожай, дикий и беспощадный. И только суровая дисциплина, только его личный авторитет как-то вынуждали вчерашних крестьян, нынешних колхозников, скрепя сердце, давать крохотные излишки в закрома социалистической Родины.

Наконец он дома. Бросив кепку на стул в прихожей, Киров глубоко и удовлетворенно вздохнул, разводя руки в сторону. Он устал и хотел спать.

- Маша? – окликнул он жену, стаскивая сапоги.

Никто ему не ответил.

Слегка удивленный Киров прошел по сумрачным комнатам. В гостиной на кресле, он заметил силуэт и догадался, что это Мария Львовна. Шепотом спросил:

- Маша, ты что задремала тут? Зачиталась?

Силуэт в кресле заворочался, и он услышал ровный, убийственно ровный, лишенный любой теплой интонации, голос жены:

- Сережа, включи свет.

Киров пожал плечами:

- И то – верно. В потемках что увидишь.

Он нащупал на стене выключатель, и нажал на него пальцем. Стало светло, даже ярко, и он невольно сощурился, и лишь приглядевшись, увидел жену с каменным изможденным лицом.

- Маша, тебе плохо? – он подошел к ней.

- Смотри на меня, Сережа, так же ровно сказала она..

Киров обеспокоился. С этой рабочей нескончаемой кутерьмой он вообще перестал замечать жену, интересоваться ее здоровьем, и ему стало неловко:

- Что с тобой, Маша? – спросил он участливо.

Мария Львовна медленно, глядя ему в глаза произнесла:

- Мне сегодня позвонил один человек и захотел заставить меня усомниться в твоей честности.

Киров меньше всего хотел сейчас что-либо выяснять, но тон жены и сообщение о каком-то человеке встревожили его. Интуитивно он догадался о чем может пойти речь, и гнев полыхнул в нем, сжигая усталость:

- Что? Что еще за ерунда! Какой человек?

Все так же медленно и внятно Мария Львовна повторила:

- Не знаю – какой человек.

Киров негодуя прошелся по комнате. Его голос зазвенел:

- Сюда далеко не каждый может позвонить. И ты это тоже знаешь. Мне это не по душе. Переговорю завтра с Медведем. Не хватало, чтобы какая-то скрытая контра имела доступ к моему жилищу...

- Не каждый, правда, - согласилась Мария Львовна. - Я это поняла. Но пока не надо – Медведю что-то говорить.

Киров начинал слегка злиться на жену. Она что не понимает, что это ненормально. Он стукнул кулаком по стене:

- Как это не надо? А если это – враг? Настоящий вражина, притаившийся гад...

- Или тот, кто знает тебя хорошо и – о тебе знает много, - перебила она его.

Киров озадаченно посмотрел на нее, было ясно, что тяжелого разговора не миновать. Он неплохо знал натуру Марии Львовны, и увилывать или оттягивать этот разговор, если она уже на него настроилась, - бесполезно. Она умнее его в таких вещах, и любые его увертки причиняют ей боль. А он не хотел, чтобы ей было больно.

- Что случилось, Маша? – он сел напротив в готовности к разговору.

- Я еще раз повторяю, он хотел заставить меня усомниться в твоей честности.

Киров поморщился:

- Ну что ты разводишь канитель. Я и так чертовски устал. Что он там плел? Давай быстрее выясним, да – на боковую.

Вопрос прозвучал обыкновенно, как бы о чем-то второстепенном:

- У тебя есть любовница?

Как бы ни был настроен Киров на любой каверзный вопрос жены, такого поворота – откровенности прямо в лоб, он не ожидал. С минуту он мигал на жену, пораженный до глубины души, потом еле раздвинул губы:

- Что?

- У тебя есть любовница? – в ее тоне звучала та же обыкновенность, от которой ему захотелось взвыть. Гнетущая тяжесть легла ему на плечи и заползла внутрь. Он сглотнул:

- У меня есть работа Она заменяет мне всех любовниц и любви.

Мария Львовна покачала головой, и грустно перевела взгляд на дверь. Ее глаза стали влажнеть.

- Это – не ответ. Впрочем, я бы могла о чем-то догадаться и сама. Ты давно перестал обращать на меня внимание как на женщину.

Киров вскочил. Не ко времени вся эта болтовня, как она не понимает! Конечно, сидит тут целыми сутками без дела, так любая малая хрень в ее сознании вырастает до размеров всемирной катастрофы. Но ему все это обсасывать, оправдываться – увольте!

К нему вернулась усталость. Он зло и обидно бросил:

- Ну о чем ты! Ты же видишь как я занят, я приползаю ни к чему не способный. Вся энергия, все силы – отданы. И в этом меня упрекать ты не смеешь. Я отдаю эти силы своей стране, своему народу...

Маркус смотрела в сторону:

- Отдаешь. Признаю. Но и то, что ты рад любой юбке, не пройдешь мимо спокойно – тоже знаю!

Киров побледнел. Никогда еще его жена не позволяла себе бросать в него такие обвинения.

- Что ты несешь, Маша! – крикнул он.

Она вздрогнула от его крика, снова повернула к нему свое восковое лицо, и, тяжело дыша, выдавила:

- Я? Несу? Да сколько раз тебя привозили сюда с ваших попок, от тебя несло бабами как мусором со свалки. Я – молчала.

Киров иронично и откровенно зло взглянул на нее:

- А тут – прорвало? Не могу молчать больше? Одна сука назвонила – и ты в тупую бабью ревность кинулась? – он постарался успокоиться. Примиряюще он протянул ей руку. - Бред все это, я тебе скажу. Ты нездорова, давай потом, это все...

Маркус не заметила протянутой ей руки. Ее глаза сузились, и в них нельзя было распознать ничего:

- Ревность? Прорвало? Ты всегда в душе упрекал меня – да, да – я это знаю, что я бесплодна, не могу тебе дать желанного ребенка. Ты и стал рыскать на стороне? Ну, и как, герой? Удалось? А? Что - молчишь?

- Что ты от меня хочешь в конце концов? – он убрал руки за спину и навис над ней.

- Сначала – проверить твою честность, - весь ее настрой на спокойный разговор сломался. Ее тоже стала охватывать злость. - Так что, Сереженька Костриков, любимый народом великий Киров, есть у тебя любовница, вылупившая тебе дитяню? Нет? – она истерично взвизгнула, почти не контролируя себя. - Говори!

Киров мрачно ощерился и отпрянул рот нее:

- Ты не в себе, Маша! Я не хочу говорить на эту дурацкую тему дальше. Поняла?

Она привстала на кресле. Ее колотило. Маленькие кулачки сжались. Волосы выбились из-под заколки. Вместо аккуратной прилежной женщины, к которой он привык, на него тарасилась растрепанная почти что безумная баба:

- Не хочешь? Негодяй! Я любила тебя как мужчину, как образец порядочности, как рыцаря, как трибуна. Как – Б-о-г-а! А кто ты оказался на самом деле – обычный мещанин, бабник, пьянь, сволочная натура! Да как ты вообще мог...

Киров тоже больше не стал сдерживаться. Он чудовищно устал, ему только не хватало тут истеричные концерты выслушивать. Первое что пришло на ум, он и брякнул:

- Да помолчи ты, святоша! Корчишь тут невинность. Кто тут с пеной у рта отстаивал передо мной права проституток, бедных и убогих? Кто тут ратовал за публичные дома? Ума хоть хватило заткнуться вовремя...

Маркус ахнула:

- Ах, вот что. Я – виновата, что герой народный – кобель с яйцами! Да? Я - выходит блядь, с животом порожним, а ты идеал морали? И с этой моралью ты бабам подолы поднимаешь? О высоких идеях социализма болтаешь с ними, когда им ноги раздвигаешь? На ухо шепчешь о нравственности коммуниста? Да знаешь кто ты... Ты... ты...

Она поднялась на кресле, как жалкий и прямой укор ему, она еще далеко не все сказала. И вдруг внезапно ощутила в груди леденящую хватку, похожую на ту, что была днем. Но эта хватка держала ее куда сильнее. Словно в лицо ей ухмыльнулась какая-то костлявая тень. Она вскрикнула от

боли и страха, скорчилась от видения, которое уже не уходило от ее глаз, и рухнула на пол...

Он не помнил как орал по телефону, вызывая врачей. Как несся в больницу. Как суетились медсестры, как угодливый администратор терся рядом, предлагая присесть, чайку и прочимее глупости.

Киров опомнился, когда в накинутом небрежно на плечи белом халате бесцельно бродил по коридору в полном одиночестве.

Тускло светили ночники. В тишине гулко отдавались его шаги. Ни одна душа не осмеливалась докучать ему, и он мерил тяжелыми шагами коридорное пространство, не совсем понимая – что он здесь делает, зачем он здесь.

Из операционной вышел врач и неспешно направился к нему. Киров сам поспешил навстречу.

- Сергей Миронович, - начал издали врач извиняющимся тоном. - Положение очень серьезное.

- Ну! Не тяни кота за хвост, - грубо сказал Киров. -. Что с ней?

- У Марии Львовны – инфаркт.

- Ну! – взорвался Киров. – Дальше что? Она жива?

Врач съежился и кивнул:

- Да, все обошлось. Но она – очень, очень слаба. Посещать ее нельзя. Поверьте, Сергей Миронович, мы сделаем все возможное. Пожалуйста, поезжайте домой. Надеюсь, здесь все будет в порядке. Мы вас обязательно будем держать в курсе дела. Извините, мне надо к больной.

Он потоптался, развел обескуражено руки в сторону, неловко поклонился и пошел прочь.

Киров отстраненно смотрел ему вслед, с уходом врача все то, что он услышал от него, стало доходить до его сознания.

- Прости меня, Маша. Какая же я сволочь... - пробормотал он.

Глава 4

Внезапная болезнь Марии Львовны удручила Кирова. Он откровенно лаял себя, считая виновным за то, что случилось с его женой. Переживая в гулкой пустой квартире о ней, он скрипел сапогами по просторным комнатам, останавливался в ее спальне (они уже давно спали врозь), смотрел на ее вещи, одежду, свисающий с кресла плед, который домработница не осмелилась убрать в шкаф.

Большая черная жаба давила ему грудь. Он не испытывал одиночества из-за ее отсутствия, но он чувствовал огромную вину и дискомфорт от этой щемящей пустоты, которой он стал причиной. Его сердце билось ровно, оно не болело за состояние Марии Львовны той острой непостижимой болью, что не дает покоя всему телу и душе, и ты мечешься, воешь от необъятной тоски и желания помочь, лечь вместо нее на больничную койку, лишь бы с ней все было хорошо, и леденеешь от мысли, а если вдруг... и тогда весь свет сразу становится не мил, и царапаешь стену пальцами чувств – за что! За что,

Господи! Куда мне и зачем мне, если ее не станет... Нет, он был далек от такого потрясения и поведения. Любовь к Марии Львовне, если даже что-то и осталось в нем из этой любви на самом деле, а не вследствие тех фальшивых уверений, которыми он нагружал себя и ее, мирно покоилась на самом доньшке его мятежной души, и вряд ли он бы вытащил эти остатки из забвения сейчас, когда его душа принадлежала другой женщине.

Но он терзался угрызениями совести, ему было чудовищно стыдно и не по себе за случившееся. Он прожил с Марией Львовной, с Машей много лет, и за это время она стала его верным соратником, медленно превращаясь из женщины именно в соратника, в котором видишь друга, помощника, товарища, советчика... - но и только. Когда с каждым днем, месяцем, годом все меньше видишь жену в образе любимой женщины.

Киров знал много о семье Ленина. И ему пришло в голову ошеломляющее сравнение – для него Мария Львовна то же, кем и чем для Владимира Ильича была Надежда Константиновна, а Мильда – его Мильда, это Инесса... Он гнал эти мысли прочь, но они настойчиво кружились в горевшей жаром голове, а вместе с ними отчего-то возникал туманный смеющийся и жаждущий облик, снимающий с себя одежды и протягивающий ему руки. И этот облик совсем не напоминал Марию Львовну. Киров чертыхался, громко клеймил себя негодяем и сволочью, шел на кухню, вливал в себя пол-стакана водки, закуривал, тяжело садился на стул и закрывал ладонями лицо, словно отгоняя прочь все и вся...

Впервые в своей жизни он был по-настоящему растерян и выбит из привычной колеи, корой шел уверенно, безоглядно, энергично. И оказалось, что и для него (для него!) существуют тоже рытвины и ухабы, как и для любого смертного. И он может поскользнуться и пасть. О, нет, о не упал, но он – поскользнулся. Он не хотел терять никого из тех, кто ему близок. Ни Марию Львовну, ни Мильду. Ему стало страшно оттого, что вдруг придется делать выбор – жестокий и бескомпромиссный.

Что тогда? Как резать по живому?

Резать по живому... - неотступно стучало в висках в унисон с большими настенными часами. Время – оно все поставит на свои места, и будет ли это беспощадное время оглядываться на него, учитывать его мнение, исправлять его ошибки или равнодушно внесет в свои скрижали неисправимые ошибки его судьбы. Судьбы великой и суетной...

В кабинете Чудова сидел задумчивый Филипп Медведь, сцепив руки перед собой, и искоса поглядывал на Чудова.

В кабинете висела гнетущая тишина, и, как специально, за открытым окном весело щебетали неугомонные ласточки, буйной зеленью ломилось в окно съезжающее со дня на день из города лето, с Невы несло прохладой. Чудов сердито посмотрел в окно, подошел к нему и в сердцах захлопнул.

Теперь тишина была полной.

Медведь хрустнул пальцами:

- И что? Так и будем сидеть, сложа руки? Надо что-то делать.

Чудов неторопливо ходил по кабинету, раздумывал, наконец, выдохнул, словно откуда-то из подвала:

- Да, задача. Ты же знаешь его, черт возьми. Если вскипит, то мало не покажется.

Медведь понимающе кивнул. Еще бы ему не знать горячий норов Сергея Мироновича.

- Мы его товарищи по партии... - неуверенно произнес он. – должен же прислушаться в конце концов.

- Да? – Чудов остервенело поскреб себя по затылку. - Попробуй коснись этой темы.

Он вздрогнул, наверняка представив как он, Чудов осмелится выговаривать первому секретарю Ленинградского обкома о его не совсем желательной (да какое там – не совсем желательной – совершенно недопустимой интимной) связи. Он настолько живо представил злое лицо Кирова, что ему стало не по себе даже от того, что он представил... Куда там наяву, нет, он на это не пойдет.

- Нет, надо по-другому. Все очень далеко зашло.

- Вот именно, Михаил Семенович, - поспешно согласился Медведь. Он понял – что думает Чудов. Он уже сам имел что-то похожее на беседу в лесу на охоте, и видел реакцию Кирова, и ему самому ой как не хотелось снова вызывать его на откровенность по этой больной теме. - Я что предлагаю. Давай–ка ты перетолкуешь с его женой, а я с этой... Может образумим, ну, а нет, будем думать. Нам обоим дорог Сергей Мироныч...

Чудов устался в окно. Забежавшее из-за угла солнце ласково скользнуло по его испещренному складками лбу. Чудов прижмурился:

- Мария Львовна две недели как дома...

- Врачи заверили, что кризис миновал, - подсказал Медведь.

- Попробую, - сдался Чудов. – Во всяком случае, постараюсь, но и ты, товарищ Медведь не мешкай. Ты верно сказал – нам всем дорог Сергей Мироныч...

Миссия Чудова оказалась неопределенной по результату. Он сам не понимал – какой ее считать, удачной или наоборот. Мария Львовна, бледная от перенесенного инфаркта, приняла Чудова вежливо и сдержанно, как бы отдавая ему должное за что, что он ближайший сподвижник ее мужа, а с другой стороны – человек, потакавший в его греховных утехах, либо скрывавший их, но в любом случае осведомленный о неслужебных «подвигах» Сергея Мироновича, стало быть, в какой-то мере соучастник.

Чудов ощущал ее настроение, но решил все –таки держаться до конца и выполнить свое обещание Медведю.

Маркус сидела неподвижно и отстраненно, слушая смущенного покрасневшего Чудова. Он уже многое сказал ей, запутываясь и лепеча, дипломатично обходя острые углы, намекая очень отдаленно о том, что Мария Львовна уже хорошо знала или, по крайней мере, догадывалась.

Она молчала.

Он вытер лицо платком и закончил:

- Вот такая моя нелепая миссия, Мария Львовна. Понимаю, вы еще не очень хорошо себя чувствуете... Простите. Но я говорю с вами как коммунист с коммунистом – открыто и честно. Мы все сделаем со своей стороны, поверьте... -

- Да уж делаете... А воз и ныне там, - наконец подала голос Маркус и на ее бледном лице возник оттенок алого цвета.

Чудов сокрушенно развел руки:

- Вы же прекрасно знаете Сергея Мироныча, его сложно в чем-то переубедить, остановить. В общем, ситуация такова, что ее нужно решать. Мы от вас просим одного – не поднимайте шума, и так сплетнями опутан весь город. Подчинитесь обстоятельствам. Пока. Так нужно для нашего общего дела.

Маркус печально улыбнулась:

- Родной мой, Миша, я все понимаю, и не надо меня здесь агитировать. Я и так – люблю его, и никуда от него не денусь. Буду с ним до конца...

Чудов промолчал и стал собираться.

- Кто она? – услышал он вдруг ее вопрос.

Он обернулся. Глаза Марии Львовны были требовательны и непреклонны, они как бы говорили – я знаю, что вы ее знаете, так что нечего играть в кошки-мышки.

- Она – его секретарь, - с трудом выдохнул Чудов. – Извините меня, Мария Львовна.

- Я не скажу Сереже, - поняла она его.

Медведь тоже время даром не терял. Он заявился в Смольный в тот же день, когда Чудов наносил визит Марии Львовне – они специально выбрали день, когда Киров был в отъезде в Москве.

В приемной находилась одна Драуле. Как только первый секретарь обкома куда-либо уезжал, приемная сразу начинала напоминать пустой холл вокзала, откуда на последний поезд успели все пассажиры, - она выглядела пустынной, покойной и величавой.

Мильда проверяла нумерацию исходящих документов за май, когда в приемной появился Медведь. На всякий случай, вернее, по многолетней привычке, он мигом оглянулся. Никого.

Он решительно и мрачно подошел к Драуле.

- Сергея Мироныча нет, мельком взглянула на него Мильда и снова углубилась в подсчеты, не заметив выражения лица Медведя.

- Знаю. Я не к нему. К вам, - раздались над нею слова, и тон, каким они были произнесены, заставили ее сжаться.

- Ч-чем я могу быть полезна?

Медведь навис над ней черной тучей, внушая страх. Она сразу же осознала, что за его словами, вообще за этой беседой скрывается бездна, и на нее уже повеяло холодом из этой бездны.

- Я буду говорить прямо. Надеюсь, что вы понимаете – этот разговор сугубо между нами.

Мильда сглотнула большой колючий комок в горле:

- Понимаю.

Медведь решил не церемониться. И так все весьма очевидно, да и не ему играть здесь в бирюльки:

- Ваши отношения с Сергеем Миронычем выходят за рамки служебных, и это ненормально. У вас есть семья, и у него есть семья. Вы должны разорвать ваши отношения. Вы – именно вы.

Драуле при всем своем ужасе, все-таки вспыхнула от негодования от подобной бесцеремонности:

- Какое вам до этого дело? Уже пугали...

Медведь медленно покачал головой, не сводя с нее тяжелого давящего до земли взора:

- Я не пугаю. Я говорю с вами потому, что верю в ваш ум, - он надвинулся еще ближе, задев кожаной курткой ее щеку. - Вы наносите огромный вред ему. И это может плохо кончиться. И не только для вас. Для вас обоих. Мы не имеем права на то, чтобы его имя обрастало грязными слухами. Это дискредитирует его. Это дискредитирует партию. Ясно вам? Если он вам очень дорог, уйдите от него.

Мильда была совсем не подготовлена к таким вещам. Ей отчего-то казалось, что все наладилось, что тот режим жизни, который выбран ими двоими, устраивает и их, и всех, даже если они, эти все, и в курсе их отношений. И вот, совершенно некстати, совсем внезапно ее на полном скаку стреножат и хотят вообще швырнуть на землю. Ее словно окатили ледяной водой, и она не соображала, что произошло. Машинально, лишь бы этот страшный человек отвязался от нее, ушел, она скороговоркой, согласно кивая, бросила:

- Хорошо, я подумаю...

Но Медведя, судя по всему, эти ее слова не устроили. Он не изменил позы, и край его кожаной курточки все еще покачивался у ее щеки, и она была не в силах даже пошевелиться, даже отпрянуть назад от этой противной куртки.

- Никаких – я подумаю. – властно сказал он. - Вопрос стоит только так, как я сказал. И вам, и мне, и всему народу Киров дорог. Так давайте же не будем спекулировать разными там чувствами на нем. Если вы в самом деле его любите – принесите свою любовь в жертву. Ради здравого смысла. Ради тех принципов коммунизма, которые для него святы.

Она была пригвождена. В одно мгновение у нее не стало ни слов, ни сил, ни желаний, - ничего. Один сковывающий страх дарил одно желание – унести отсюда куда угодно, раствориться, стать невидимой и пропавшей навсегда.

В приемную некстати для Медведя и спасительным выходом для Драуле зашел Жданов.

- Ого, Филипп. Какими судьбами? Товарищ Киров в командировке, неужто не знал?

Медведь сурово посмотрел на склонившееся к краю стола лицо Драуле, чертыхнулся про себя, нехотя повернулся, придавая лицу равнодушное выражение.

- Да знаю. Конечно. Я тут за бумажкой к одной к секретарше. Считай так, мимоходом, и время – мчать по делам.

Жданов внимательно посмотрел на Медведя, на еле заметную, склонившуюся за кафедрой стола секретаршу, пробормотал миролюбиво:

- Ну, как знаешь. А то бы зашел, по чайку прогнали бы. Тут плакаты о бдительности мне приготовили, глядь, что бы посоветовал свежим глазом.

- Спасибо, Андрей Саныч, в другой раз непременно.

Медведь сухо кивнул, молча пожал Жданову руку и, пошатываясь, точь-в-точь как настоящий медведь, вышел вон.

Но на этом неприятности для Мильды не кончились. Целый день после разговора с Медведем она ходила сама не своя, шарахаясь каждого угла. Ей все мерещилось, что неусыпное и тяжкое око Медведя видит ее отовсюду. Кое-как досидела она до конца положенного служебного времени и направилась домой, ей казалось, что под защитой стен квартиры будет покойнее.

Она торопливо шла по улице с авоськой - молоко, булка для маленького Лени.

Солнце щедро согревало улицы, и под его бесшабашным ярким светом стало казаться, что встреча с Медведем – всего-навсего плод ее воображения, ну не может быть так плохо и страшно, когда вокруг так хорошо и светло.

Сзади за ней медленно ехала машина. Черная эмка.

Драуле в своих мыслях не замечала ни машины, ни встречных прохожих, она просто хотела улыбаться солнцу, которое улыбалось ей. Чтобы уйти от неприятного воспоминания об этой кожаной куртке.

Выждав момент, когда поблизости не было прохожих, эмка увеличила скорость и внезапно затормозила рядом с Драуле.

От неожиданности она отскочила в сторону.

Дверца эмки распахнулась. За рулем сидел неизвестный Мильде человек, совсем не похожий на Медведя, но ее сердце тоскливо застучало, повадки этого человека. Его уверенная и властная манера поведения говорили сами за себя – кто он и откуда. У нее похолодело в груди и ногах. Неужели все это продолжится?

Неизвестный молча махнул ей рукой, приглашая сесть в машину.

Она медлила.

Человек скрипучим и очень неприятным голосом, громко прошептал, глядя в ее расширенные глаза:

- Мильда Драуле. ОГПУ. Садитесь, и живо.

Драуле беспокойно повела плечами, посмотрела в какой-то глупой надежде по сторонам, затем покорно и робко села на край сиденья машины.

Неизвестный, мигом наклонившись, рукой через нее рывком захлопнул дверцу. И машина тут же сорвалась с места.

Мильда тревожно смотрела на дорогу, боясь повернуть голову в сторону незнакомца:

- Куда вы меня везете? У меня ребенок, маленький, его кормить надо... - едва не всхлипывая, спросила она.

Неизвестный, не глядя на нее, а только следя за дорогой, каменным голосом ответил:

- Знаю. Я привезу вас туда, где остановил. Мы покатаемся минут семь. Недолго.

Мильда испуганно и исподволь, склонив голову, все же стала наблюдать за незнакомцем:

- Что вы хотите от меня?

- Верно, хочу, - мотнул бычьей шеей неизвестный. -. Если вы умная женщина, на что я надеюсь, то догадаетесь и об остальном.

- О чем – остальном? – пролепетала Мильда.

- Вы – любящая жена и любящая мать двоих детей. Так? – Незнакомец рявкнул не слыша ее ответа. - Не слышу!

Мильда ошарашено согласилась:

- Так.

Незнакомец, между тем, сообщал ей очевидные для нее вещи, но так сообщал, что выходило, будто эти вещи преступны сами по себе, и еще преступнее, что они относятся к Мильде Драуле:

- Вы души не чаете в маленьком Леониде, в мальчике с чудным именем Маркс. Так?

Мильда так же ошарашено согласилась, будто признаваясь в тяжком злодействе:

- Так.

Незнакомец нажимал на каждое слово:

- И искренне любите своего милого, чуть странного, но безумно милого мужа... Так? Я не слышу, Мильда Драуле.

Запинаясь, она прошептала медленно, малоповоротливым от ужаса языком:

- Кто вы? Зачем это нужно ОГПУ?

Незнакомец и ухом не повел:

- Я не слышу ответа? Я говорю – неправду? Итак, вы искренне любите мужа, или у меня неверные сведения?

- Да, люблю. – скорее кивнул, чем сказала она.

Незнакомец лихо вывернул машину на угол, едва не сбив зазевавшегося дедушку, и вылетел на малооживленный Кирочный проспект, переименованный новой властью в проспект Салтыкова-Щедрина.

- Не сомневаюсь. – удовлетворенно процедил он, словно провел неплохой экзамен для нерадивой ученицы, и она оказалась на редкость сообразительной и понятливой. И тут же его голос снова стал холодным и лишенным любых интонаций - А теперь слушайте меня внимательно, коль

мы все выяснили. Ваша семья – хорошая советская семья. И она должна быть такой. Если вы хотите счастья и покоя для ваших детей и – вашего мужа. И – для себя, в конце концов. Это – ясно?

- Ясно. – эхом отозвалась Мильда.

- Умница! – проскрежетал незнакомец. - И это ваше семейное счастье, вашу идиллию не должны омрачать никакие грешки.

- Что вы говорите? О – чем?

Незнакомец сплюнул через полуоткрытое окошко дверцы и повернулся к ней, словно его не занимала больше дорога. Взгляд его холодных мерцающих глаз был настолько неживой и втягивавший в себя, словно взгляд удава, что Мильда едва не закричала, если бы это ей удалось:

- Не прикидывайтесь безмозглой овечкой. Мы понимаем – о чем мы говорим. Вы, полагаю, догадываетесь, что в том ведомстве, где я работаю, шутить не любят. А теперь очень внимательно слушайте и запоминайте как букварь. Я дважды повторять не буду. Если вы дадите хоть один повод нам усомниться в вашем семейном счастье, вы, которая так любит своих детей и мужа, вы пожалеете об этом первая.

Драуле уже не могла больше выдерживать этот убивающий ее ужас. Она всхлипнула:

- Прошу, не надо. Отвезите меня домой, пожалуйста. Я все поняла, ну, правда, же.

Незнакомец продолжал инструктировать, и в этой инструкции ей чудились нотки нотации Медведя, но она уже не соображала, кто с ней сейчас говорит – незнакомец или Медведь, или это одно и то же, просто Медведь оборотился в незнакомца и продолжает донимать ее.

- Второе. Никто, ни одна душа, ни один святой или ангел, никто во всем мире – не должен знать о нашем разговоре.

Черная эмка стремительно подкатила к тому месту, откуда незнакомец взял ее в машину Мильда выскочила из нее, прижимая к лицу авоську. Машина мгновенно уехала.

Мильда дрожала от страха. В авоське так же, позвякивая, дрожали бутылочки молока. В глазах Мильды застыла невыразимая мука ужаса и обреченности. И лукавое солнце обходило ее своими лучами, словно не желая обжечься о ледяное безмолвие, выросшее в этой женщине, которая совсем еще недавно желала ему улыбаться.

Шатаясь, она прошла под арку, В парадной в изнеможении прижалась к стене, оседая на корточки.

Выше послышался плач малыша. Драуле вздрогнула, подняла свое лицо без кровинки на этот крик:

- Иду, мой славный, мой хороший. Иду – идет твоя любящая мама, мой хороший...

Мария Львовна отомстила за свое унижение.

Красиво отомстила.

...Драуле сидела и печатала на машинке документы. На открывшуюся дверь приемной она не обратила внимания, - работа была срочная. Но вдруг она вздрогнула, ощутив на себе испытывающий и оценивающий взгляд. Она подняла голову и оцепенела. В приемной стояла элегантно одетая женщина и в упор разглядывала ее тяжелым, надменным и снисходительно-презрительным взглядом. Мильда и разу не видела эту женщину, но смутно догадалась, кто это.

- Вы...по какому вопросу? – зардевшись, тихо спросила она, и, не выдержав взгляда, опустила голову.

- У меня нет вопросов, - ответила женщина жестким неприятным голосом.

- Сергей Миронович вышел к... товарищу Жданову, - сказала Мильда, чувствуя, что даже уши ее предательски краснеют.

- Мне он сейчас не нужен, - спокойно ответила женщина, привыкшая, судя по всему, к властности.

- А что... что вы... хотите? – пролепетала Мильда.

Женщина поджала плечами и прошла по приемной. Каждый ее шаг отзывался в сердце Мильды ударом.

- Посмотреть на вас.

Мильда была готова сквозь землю провалиться.

- З-зачем?

- Надо же, - фальшиво рассмеялась женщина. -. И я точно так подумала - Зачем? Бабье любопытство, милочка.

В это время в приемную стремительно ворвался Киров. И замер. Он явно смутился, в одно мгновение увидев выражение лиц обеих женщин.

Мария Львовна, а это, разумеется, была она, медленно повернулась к мужу. Ее губы тронула сардоническая улыбка.

- Боже, как ты неряшливо выглядишь, Сережа. Впрочем, у тебя никогда не было хорошего вкуса. Ни в чем.

Она сухо кивнула и вышла прочь...

Лето не пощадило советскую территорию, испепелив ее зноем от Волги до Днепра. Взшедшие поля чахли и никли, не поддаваясь никакому энтузиазму и лозунгам. Скотина остервенело вырывала сухую траву с пыльных слежавшихся пластов земли, мычала, блеяла и тупо била копытами по этой проклятущей жаром пылающей тверди в надежде вдруг что да еще вырастет.

Северо-Запад природа пощадила, и здесь намечался вполне сносный урожай, но вряд ли его хватило бы на то, чтобы обеспечить пораженные засухой районы и республики СССР. Сбывался мрачный прогноз колхозников, которых Киров инспектировал нынешней весной. Но хоть взвой, ничего не поделаешь – слово партии «надо» звучало даже не как приказ, а как ультиматум. И готовились к отправке с берегов Невы вглубь Страны Советов тощие обозы, которые были каплей в море, чтобы накормить, спасти от надвигающегося голода сограждан.

Остервенелость закружила над государством. Все и вся были брошены на борьбу. Очередную борьбу с очередной бедой. Казалось, что Советская страна все годы, начиная с 17-го года, неусыпно только и делала, что боролась и боролась, и при этом что врагов, что лиха не умалялось.

Административная лихорадка трепала все советские госучреждения. Неумолчно и зло надрывались хрипящими голосами телефонные трубки, стучали кулаки по столам и по рожам, люди в кожаных куртках все сосредоточеннее и чаще выезжали в деревни.

Вещие бабки говаривали – нету грибов в лесу, быть беде, ой быть беде. Люди кидались в леса, и верно – нет грибов, да и откуда им взяться если дождя за все лето ни капли, точно не возжелал разгневанный Господь поливать эту землю, породившую дерзнувших срывать кресты с Его золотых куполов да храмов.

Озабоченность, казалось, въедалась под веки и передавалась всем, - кругом сновали озабоченные люди, сутулясь под грузом этой озабоченности, - по площадям, по улицам, по комнатушкам коммуналок, по коридорам Смольного...

Приемная кабинета Кирова напоминала проходной двор. Озабоченность проникла и сюда, и стояла навтыжку у стен приемной, въевшись в застывшие ожидающие своего часа фигуры с портфелями и папками.

Дверь в кабинет первого секретаря обкома была приоткрыта – через эту щелочку секретарю Мильде Драуле было заметно, как Киров с Медведем и каким-то неведомым ей архитектором, который с указкой показывал на макет, лежащий на столе, что-то обсуждают.

Мильду явно выдавал нездоровый вид. Как она ни старалась успокоить себя, как ни наводила лоск своему лицу в ожидании приезда Кирова, удавалось мало. Да и Киров, прибыв из Москвы, толком и не побывал в Смольном, тут же стремглав умчался в область, в колхозы.

Все эти две недели, что прошли после напугавших ее встреч, она были ниже травы, тише воды. Точно маленькая мышка, что воровато и осторожно выглядывает из дырочки под плинтусом, так и она смотрела на этот мир теперь, опасаясь даже звука свои шагов.

Ей еще не приходилось сталкиваться лицом к лицу с могущественной карательной системой, олицетворявшей контроль и порядок в советском государстве. Медведев, как и любой чекист, виделся ей таким строгим и романтическим героем, не щадившим своей жизни ради великой победы коммунизма. Она его побаивалась и раньше, когда встречала, но никогда Медведев не был с ней настолько безжалостно откровенен, презрителен и жесток как в последний раз. Это сразило ее. Она ощутила неумолимую и беспощадную мощь, исходящую от него и от его загадочной и всесильной системы. А вторая встреча с незнакомцем в черной эмке, явно подосланным все тем же Медведем, уложила ее наповал.

Она обнаружила, что она голая, беззащитная, никчемная. Ее словно раздели, выполоскали, высушили на ветру, одели и сказали – вот ты такая,

сошка, и не больше. И она до сих пор ощущала себя обнаженной и сушащейся на стылом ветру...

Только один человек мог вернуть ее к жизни. Человек, с которым ей совершенно чужие люди императивно запрещали иметь право на что-то большее, нежели обычные служебные контакты. Люди, которые не остановятся ни перед чем, способные разрушить ее семью, сделать гадости для ее мужа и ее детей. О себе самой она думала мало, что будет то будет. Но ей весьма грубо внушили чувство ответственности и вины перед своими близкими.

Она ничего не могла. Будто перед ней поставили стеклянный и непробиваемый барьер, за который уже больше нельзя, можно лишь наблюдать, что там – за ним. Все!

Драуле тупо смотрела перед собой, автоматически выполняя какую-то несложную работу, не замечая никого в приемной. Лишь одна щелочка в кабинет Кирова, доносившийся до нее его голос удерживали ее от желания, овладевшего ею за это время, - провалиться сквозь землю. сбежать, улетучиться...

Она не увидела подошедшего Чудова. Тот деликатно кашлянул. Она подняла голову.

- Мильда, Сергей Мироныч еще не освободился? – поинтересовался Чудов.

- Еще нет, - машинально ответила она.

Чудов внимательно посмотрел на нее:

- Когда освободится, скажите, что я заглядывал по вопросу, который он знает. Если захочет вызвать – сообщите. Ладно?

Драуле кивнула.

- Вы больны? – участливо спросил он.

- Нет, нет. не выпалась просто. – соврала она с такой поспешностью, что вранье стало очевидным.

Чудов укоризненно покачал головой:

- Все-таки зря вы не послушались моего совета. Я уже вам четвертый раз за эту неделю говорю - лучше бы оставались дома, с ребенком. Никуда эта работа от вас не денется.

Мильда вымученно улыбнулась, все же не такой он сухарь, этот Михаил Чудов. Станный немножко. По первости ее назначения был официален, проходил мимо как гусак, задрал голову. Позже стал примечать. А сейчас, она это видела, откровенно жалеет ее.

- Да уж как-нибудь справлюсь... - сказала она.

Чудов больше ничего не говоря, повернулся и ушел.

Драуле положила голову на стол, благо приемная как-то неожиданно опустела, часть посетителей ушла вслед за Чудовым. Остальные, повременив, тоже куда-то ушли. Не иначе, как он им что-то сказал. Неужели, он таким образом решил облегчить ее состояние?

Даже если это не так, она все равно ему благодарна.

Дверь кабинета Кирова вдруг распахнулась, Мильда едва успела принять обычное сосредоточенное положение секретаря.

На пороге стояли Киров, Медведь и тот самый неизвестный ей архитектор.

Медведь выглядел задумчиво, но исподлобья внимательно смотрел на Драуле. Она подняла голову, интуитивно, почувствовав на себе чей-то цепкий взгляд, наткнулась на взгляд Медведя и испуганно стала хлопотать на столе – переключать бумаги на столе, делая вид, будто что-то ищет. Сердце забило сильно, с каждым ударом, как заноза, впиваясь в грудь. И все же сейчас она не так боялась этого страшного чекиста, потому что он был не один, а с Кировым, и она осознавала, что при Кирове ничего ужасного случиться не может, что этот Медведь опасен только наедине. И ей лучше вообще не оставаться наедине. Тогда никому из этих людей в кожаных куртках не удастся к ней подойти.

При общей озабоченности, царившей кругом, включая и Смольный, Киров выглядел на удивление жизнерадостно. У него было явно хорошее настроение. Возможно, он удачно объездил областные колхозные хозяйства, возможно, получил какие-то хорошие известия, а, возможно, с замиранием сердца представила она, что он освободился от всех дел и хочет провести время с ней... Впрочем, это не так важно, все же славно, что у него хорошее настроение...

Киров улыбался и завершал, судя по всему, начатый в кабинете разговор:

- Ну, значит, архитектура нам обещает, - он хлопнул мгновенно покрасневшего архитектора по плечу. - Место хорошее, угол Литейного и Невы. Как раз там вам особняк и отгрохаем. Все твои орлы, Филипп, разместятся. И пусть они кружат над городом, охраняя наш порядок, пусть зорко выискивают прячущуюся контру. Считай, это – подарок нашей партии, нашего обкома, нашего города тебе. А за подарки надо платить – отличной работой. Или не так?

Медведь отвел глаза от Драуле.

- За это спасибо, Сергей Мироныч. Проект мне понравился тоже. В самом деле – большой дом получается, вместительный. На всех хватит. Ну, а работать – нам не привыкать. Сдюжим.

Киров удовлетворенно кивнул, показывая, что ничего другого он и не хотел услышать. Уперев сжатые кулаки в бока он обратился к архитектору:

- Точно управитесь к следующей годовщине ноября?

Архитектор обиженно шмыгнул носом:

- Как можно не успеть, товарищ Киров. Да для наших любимых органов, да что вы... Да это никак невозможно, чтобы подвести. В доску расшибемся, а успеем в срок.

Киров засмеялся:

- Хвалю. Вот это – деловой советский подход. А то был, помню, у меня один строитель – дом культуры заволокитил. И – все-таки не поспел. Снял с мерзавца стружку, теперь учится работать где-то севернее.

Медведь тоже расмеялся этой веселой шутке. . Архитектор испуганно подхихикнул.

Они попрощались. И медведь с архитектором ушли. Киров остался один и, повернувшись к Мильде, подмигнул:

- Ну что, товарищ секретарь? Э, да ты, вижу, мухомор, не иначе, съела? Чего надутая, а?

Мильда, стараясь говорить спокойно, как и подобает секретарю, выложила ему информацию

- К вам хотел попасть Михаил Николаевич Чудов, спрашивал если вызовете, он ждет...

Киров скривился, учуяв в ее поведении напряженность и фальшь, он подошел к ее столу поближе:

- Погоди-ка, погоди-ка. Это тебя Чудов, что ли, в зубную боль вогнал? Не похоже на него.

Мильда расстроилась – ну почему она не может скрыть свое состояние, почему он сразу же обо всем догадывается. Ведь так нельзя. Но она была бессильна перед ним более, чем перед кем-либо. Если ее клевали стервятники, и это вызвало страх и ужас, то ныне перед ней представал демон, ее любимый и любящий демон, которому она повиновалась, перед которым преклонялась и которого просто боготворила. И с этим ничего нельзя было поделать.

- Нет, нет, не подумайте. Он тут ни при чем. – защитила она Чудова. – Он в самом деле ждет вас.

Киров навис над ней, как тогда – Медведь. И словно его тень выросла за плечами Кирова.

- Да подожди ты о Чудове – подождет. А кто – при чем? Мильда – что случилось?

Драуле испуганно и торопливо, будто отвечая тени, маячившей за плечами Кирова, дернулась:

- Ничего, Сергей Мироныч, вам показалось.

- Да? – озадаченно посмотрел он на нее. – Прекрати глупить, мне ли тебя не знать...

В это время приемную зашел какой-то сотрудник (Мильда видела его нечасто, кажется, это был один из новых руководителей канцелярии) Смольного.

- Сергей Миронович, разрешите, - начал он с порога.

Киров сердито обернулся к нему.

- Я сейчас занят. Сходи, Потапов, реши этот вопрос со Ждановым. Скажи – я распорядился.

Драуле бездумно водила пальцем по столу.

- Товарищ Киров...

Киров хмыкнул:

- Так, уже – товарищ, уже – Киров. Хорошее начало, - его лицо снова расплылось в улыбке.

Драуле сконфуженно пролепетала:

- Между прочим сами говорили, что на работе к вам надо обращаться официально.

Киров расхохотался, расхохотался тем звонким смехом, который так шел ему, располагал, такой смех мог быть только у широких уверенных в себе натур, не боящихся ни черта, ни ладана. Она так любила когда он смеялся вот так. Правда, в последнее время это стало намного реже. Но сейчас он искренне хохотал над ее словами и конфузом, и ей самой стало чуть легче, и она невольно улыбнулась сама.

- Ладно, язва, махнул он рукой, вытирая слезы на глазах, выступившие от смеха. - Говори что хотела, - он посмотрел на часы. – А то у меня через полчаса совещание с водоканалом. Надо еще покумекать тут немножко, пока эти архаровцы не заявились.

- Товарищ Киров, товарищ Кирова, - медленно сказала она. - Могу я... могу я..., в общем так - уволиться с этой работы?

Веселое выражение слетело с его лица мигом. Оно стало злым и отчужденным. Эта перемена была столь неожиданна, скроль и ее слова для Кирова. Они поразились оба сулчившемуся.

- Та-ак! – протянул он зловеще. - Вот оно как выходит. А я-то думаю, чего это мой секретарь словно не в своей тарелке. Чего это он сонным ужом вертится, да молчит. А эвон оно-то как.

Его перекошенное лицо надвинулось на нее. Она ощутила манящий запах его пота, дыхания, смешанного с табаком, и закрыла глаза от набежавшего вожделения.

- Остываем помаленьку. Или кого нашла – помоложе? Режь по-живому. Стерплю, авось, - донеслось до нее.

Этих слов она не ждала. Она представляла, как он начнет ее ругать, корить, выматерит, наконец. А потом уж пусть решает – отпускать ее или нет. Но таких слов, где смешана ревность, обида, угроза, боль, опасение, где прорвалась наружу его любовь к ней, она не ждала. Да за что же она его терзает, он то при чем, что она такая нескладная да непутевая. И, потеряв всякий контроль над собой, мгновенно забыв о страшных стревятниках в кожаных куртках, Драуле выбежала из-за стола. Суетливо, порывисто, быстро обняла Кирова.

- Сереженька, милый мой Сереженька, жизнь моя единственная, как ты смог такое подумать.

И тут же, устыдившись сделанного, она отчаянно отпихнула его прочь, косясь на закрытую дверь приемной.

Киров подбоченился. Ее вспышка искренней страсти успокоила его насчет того, что он подумал. Но он ощущал, что с Мильдой явно творится что-то неладное.

- Ну-ка выкладывай начистоту – что случилось. И – не юли. Не люблю этого, - требовательно сказал он.

Мильда всхлипнула:

- Не могу я оставаться здесь. Пойми ты меня, Сереженька, не могу больше...

- Почему? – рыкнул он.

- Я боюсь... – прошептала она.

- Кого ты тут боишься? – загремел его голос, тоже ставший звонким. Но эта звонкость уже свидетельствовала не о его веселости, а о его гневе, подпасть под который не рисковал никто. - Кто посмел?

Мильда отчаянно покачала головой:

- Нет, ты не понял. Мне страшно, понимаешь мне страшно. Мне сказали...

- Ты мне сейчас все расскажешь. Все, - прошипел он. – Не утаишь ничего. Ты поняла?..

И она поняла. что расскажет ему. Но не все. Она знала, что Медведь дружит с Кировым. И что тот очень огорчится, узнав о выходке своего друга-чекиста. Да и ведь обещала она, кажется, этому Медведю ничего не говорить об их беседе. Да и не запугивал он ее, как тот, второй. В черной эмке. Она расскажет о нем. И этого будет достаточно, чтобы Киров, ее любимый Сереженька все понял, и отпустил бы ее. Конечно, же он поймет, что так не должно быть. Что их любовь обречена, и не надо больше ничего. Она переживет их расставание, она должна пережить. Она не хочет ему мешать, не хочет, чтобы его имя обрасталось грязными досужими сплетнями. Она хочет покоя. Она не хочет бояться...

Киров в бешенстве влетел в свой кабинет. Зацепив ногой стул, швырнул его к стене. Затем плюхнулся на стол, подмяв под себя какие-то бумаги. Дотянулся до телефона, схватил трубку и начал рвать пальцами телефонный диск. Его лицо перекошено отвращением.

Услышав гудок, он плотно прислонил трубку к уху.

- Филипп? Уже на месте? Один? Ну, так слушай меня, черт тебя побери!. Да не ору я! – Киров шумно выдохнул. - Ну-ка поясни мне, в Бога мать – что за козлы у тебя работают! Не понимаешь? Ах, ты не понимаешь! Это какая сука из твоих гребаных баранов запугивает моих сотрудников? Снова не понимаешь? Ну, так вот что я тебе скажу, друг мой ситный, если это идет от тебя, нашей дружбе конец – я твой лютый враг буду. Это я бешусь? Я? Ты попрिдержи узду, Филипп. Я так этого не оставлю. Опять – не понимаешь? С Кировым опасно шутить, парень. Передай своей гниде, не знаю какой – тебе виднее, на то ты у меня и начальник этой конторы, - он сорвался в крик. – Я повторяю - не знаю какой именно гниде! Сам допрешь, если захочешь! – что если хотя бы один раз эта сволочь подкатит к моему секретарю, если только один раз попытается к ней подойти, если только... не перебивай, черт тебя! Если хоть что-то будет, то я его самого так испугаю, я его закатаю с потрохами в самый дальний аул в Туркестане, и будет он там пугать местных старух, если будет чем пугать. И это еще в лучшем случае, если буду добрым. Это сказал тебе я, Киров! Понял? Ну, так и заруби себе на носу. И на будущее тоже запомни: если обнаружу, что кто-то из твоих сует нос в мои дела – любые дела! – не прощу тебе. Все!

Киров бросил трубку на рычаги. Посмотрел на беззвучный телефон и с силой грохнул кулаком по столу.

Медведь с размаху увесисто шмякнул кулаком по своему столу. Его лицо налилось кровью так, что, казалось, притронулся к нему иголкой и брызнет красный фонтан.

Перед ним сидел его назначенный заместитель Иван Запорожец.

Их отношения не сложились с самого начала. Получив назначение в Ленинградское ОГПУ, Запорожец умело и демонстративно дистанцировался от Медведя. Он вел свой участок, и Медведь тоже демонстративно не вмешивался в его работу. Все их отношения заключались в скупых докладах о проделанной работе, в таких же скупых указаниях Медведя, и не более. Медведь считал ниже своего достоинства жаловаться тому же Кирову на амбициозного, нагловатого, независимого Запорожца, явно показывавшего, что он здесь по воле Москвы, и с ним надо держаться так, как этого желает сам Запорожец. По управлению уже кочевали хлипкие слухи, что якобы Запорожец метит на место самого Медведя, и этот вопрос можно считать решенным, если только за Медведя не заступится всемогущий Сергей Миронович. Тем не менее, Медведь, которому были известны эти слухи, упорно умалчивал о сложившейся ситуации. Он все-таки был больше служака, чем интриган. И когда Киров как-то поинтересовался, как там себя показывает Запорожец, Медведь ответил уклончиво – Ничего, работает помаленьку.

Но нынешний факт переходил всяческие границы. Получив крепкий и, совершенно им незаслуженный нагоняй, Медведь уразумел, что тут дело не в его личной приватной беседе с Драуле, как поначалу он подумал, ибо Киров ни словом о самой роли Медведя не обмолвился. И все поминал какое-то иное лицо, которое самовольно решило войти в эту историю без его ведома. Он знал свой штат и отчетливо понимал, что без его приказа ни один сотрудник не позволит себе инициативы, да еще в таком щепетильном деле. Ни один, кроме...

Он быстро выяснил суть дела, ахнул и вызвал к себе Запорожца.

И вот теперь Запорожец с ленивой миной наблюдал за кипящим Медведем.

- Значит это ты, за моей спиной, не известив меня, решил побеседовать. А кто тебе дал такое право? А? – снова грохнул кулаком по столу Медведь так, что подскочила чернильница, с нее скатилась ручка и покатила под стол.

Запорожец держался спокойно и уверенно:

- У меня есть такое право. Кстати, прошу учесть – на «ты» мы не переходили. – процедил он холодно.

Медведь откинулся на стуле и обежал негодующим взглядом приземистую и ладно скроенную фигуру своего заместителя:

- Да? Откуда ты взялся на мою голову.

- Меня сюда направила партия. Вы можете быть с ней не согласны, так сообщите Ягоде, - парировал Запорожец.

Медведь закурил папиросу и яростно выдохнул дым в не шевельнувшегося Запорожца.

- Ты партию не приплетай. Я – тоже член партии, и верный ее идеалам. Да не простой ты парень, ох как не простой.

Запорожец пожал плечами:

- Я делаю это дело, потому что оно поручено мне.

- Неужели? – Медведь побагровел еще больше. - А мы тут все остальные – в шашки играем? Мы тоже работаем – очень осторожно работаем. А ты буром попер. Да с какой стати?

- Считаю, что все было правильно.

Медведь вскочил со стула и нагнулся к лицу заместителя, в которое он бы сейчас с большим удовольствием впечатал свой крепкий кулачище, и Запорожец почувствовал это, и в свою очередь приблизил свое лицо, мол, попробуй, тронь.

- Правильно? – прохрипел Медведь. - Запугал? Поприжал ей хвост? Да? А ты знаешь, как умеет кричать товарищ Киров? А как он умеет убирать со своего пути любую помеху? Чего ты добился? Киров взбешен, эта его баба в истерике. Это – топорная работа – товарищ заместитель, вот что я тебе скажу. Хреновый ты профессионал.

У Запорожца дернулась губа. Медведь задел его самолюбие, и он ему это так не оставит. Но – потом, потом. Стараясь и дальше держаться как он настроился, Запорожец равнодушно сказал:

- Я так не думаю. Эта баба – слаба. Еще пару заходов – и она отлипнет. Она уже запугана. А я умею доводить это до конца.

Медведь долго и ненавидяще (он и не пытался скрывать свои эмоции и чувства, в отличие от Запорожца) глядел в это непробиваемое лицо, затем откачнулся и снова сел на стул.

- Ну-ну, попробуй. Тебя Киров сожрет и не подавится, на этот счет я уверен, я его знаю, - Медведь раздавил окурок папиросы в пепельнице.

- Не сожрет, - уверенно сказал Запорожец.

Медведь всплеснул руками:

- Ты посмотри на него. А? Ну, добрый молодец, не иначе! Кто ты и кто товарищ – Киров. Ты прыщ, и только. А прыщи выдавливают. Особенно если они появляются у таких людей как Киров. Помяни мое слово, не тот хомуток взяла твоя лошадка, и хорошо еще будет, если ей всего только ноги переломают...

Запорожец вскочил и пафосно заявил:

- Киров – это гордость страны. И она не должна быть ничем запятнана. А если появляется пятнышко – его следует стереть. Быстро и безжалостно. И я этим занимаюсь.

Медведь уловил игру и ухмыльнулся, давая понять Запорожцу, что он раскусил этот деланный пафос, и что это дешево. Запорожец понял ухмылку

Медведя и, кляня себя, опять сел. Но по его щекам заходили желваки. Видно было, что ему тоже не просто давался этот разговор.

- Мы, понимаешь – мы этим занимаемся, - укорил его Медведь. - Все вместе. И ответственность – тоже несем общую. И мне тоже не по боку честь и достоинство товарища Кирова.

- Так в чем дело? – изобразил удивление Запорожец. - За что вы меня тут пилите?

- Ты не прикидывайся дурачком, парень, - рявкнул Медведь. - Мне твоя самодеяльщина не нравится. Будь любезен – доложи. Ты с огнем играешь. А огонь этот, если разгорится, всех нас сожжет, а не только тебя, дурака стоеросового.

Запорожец не моргнув глазом, он уже овладел собой.

- Если вы за себя боитесь – бойтесь. А за меня, и запомните это, бояться не стоит.

Медведь недобро осклабился:

- Я под пули ходил – не боялся. И не тебе меня попрекать в трусости. Я – ничего не боюсь. Только того, что ты, хлыщ столичный, не ведая наших порядков, возомнил о себе, да к черту все дело загубишь. В общем, так, понятно мне, что ты за птица такая. И вот что я тебе скажу, как начальник. Твой начальник. Я запрещаю без моего ведома предпринимать какие-либо действия, относящиеся к товарищу Кирову. Для непонятливых конкретно указываю, особенно запрещаю проводить самостоятельные и не согласованные со мной акции в отношении секретаря первого секретаря обкома Драуле и ее семьи. Вопросы есть?

Запорожец нагло скривился:

- Есть, товарищ начальник. Попрошу оформить этот ваш приказ в письменном виде.

Медведь с нескрываемой неприязнью посмотрел в глаза своему заместителю:

- Хорошо, - тихо сказал он. - Как вам будет угодно, товарищ Запорожец. Но в таком случае, я, как председатель ОГПУ, обязанный докладывать первому секретарю Обкома о нашей работе, так вот, я ознакомлю его с копией этого приказа. И – уверен, когда он ознакомится, больше я вас никогда не увижу.

Запорожец отвел взгляд. На этот раз он проиграл. И не стоит пока будоражить кого-либо. Медведь опасен и еще как опасен, особенно теперь, когда ему известно, что он, Запорожец, пугал эту сучку латвийскую. И он, увы, прав, этот Медведь, если Киров захочет, то... Аккуратнее надо, и на рожон переть без толку тоже не стоит.

- Я могу быть свободен, товарищ начальник? – вскочил он по стойке смирно.

- Да, - буркнул Медведь и потянулся за новой папиросой.

Часть 3

Глава 1

Вот и наступил 1934-й год, отметивший свое появление ядерными морозами, крутыми вьюгами, захоронившими бескормицу и ее следствия в стылой, холодно-равнодушной, длинной зиме. Давящее белое молчание угнетающе раскинулось над просторами Советского Союза, готовясь к чему-то небывалому и неизбежному.

Но большевистская партия была выше всяческих предрассудков и стенаний. Наоборот, она смело глядела вперед, строила грандиозные планы и верила в мировую победу коммунизма, и начала она сей год с отчета о своих великих победах и претворениях в жизнь предначертанных Марксом, Энгельсом, Лениным и Сталиным гениальных социалистических планов. И отчет этот, прошедший в обстановке немеркнущего энтузиазма, назывался 18-м съездом партии ВКП (б).

Единодушные оценок, анализ партийно-государственного строительства, хозяйственная политика большевиков, восторги по поводу незыблемости и победоносности избранного партией курса оказались настолько впечатляющими (да и было чем гордиться – этакие колоссы промышленности засверкали на индустриальной карте), что даже последние оставшиеся пессимисты потеряли почву для своих контраргументов и дабы не быть посрамленными, молчали и, поддаваясь всеобщему ликованию, не жалели ладоней и горла, прославляя наряду с остальными, поддерживая, заверяя, клянясь...

Съезд подтвердил полномочия своего генерального секретаря – товарища Сталина, как истинного и главного руководителя партии и страны. Правда, вышел один нюанс: в пару со Сталиным на верховенство власти оказался еще один претендент – товарищ Киров. Однако Сергей Миронович сам снял постановку такого вопроса, отказавшись, твердо и решительно, от своей конкуренции с великим вождем, чтобы не вносить в партию раскол и брожение. Его поступок был оценен по достоинству, политическое великодушие Кирова только добавило ему авторитета среди партийцев, а также благосклонно было воспринято в ЦК, уставшего за последние годы от межфракционной борьбы и различных вредных уклонов, разлагающих принципы демократического централизма и единоначалия.

Но этот нюанс означал, тем не менее, что у Кирова есть сторонники, верные адепты, и если уж они отдавали за него свои голоса, то не просто так. К тому же это было прямым свидетельством того, что эти люди – не принадлежали к сторонникам Сталина. И таковых, судя по реальным подсчетам счетной комиссии, были не единицы, и даже не десятки. Такая ситуация наводила на разные невеселые мысли. Это могло быть попросту опасно – в перспективе, несмотря на все джентльменское поведение Кирова,

его активно выраженную позицию по этому вопросу, но все же – в перспективе стране могло грозить двоевластие...

И это становилось пока еще неотчетливо выраженной, но проблемой. В политике нет друзей-товарищей, политике чужды порядочность, честное слово, искренние обязательства. Интересы в политике определяются совсем иными качествами. Единственный интерес, с которым должен сочетаться интерес политика, это – интересы государства. И за такое сочетание прощается все остальное...

И пока вдохновенный итогами съезда Киров возвращался в Ленинград, в Москве, под навесом черных свинцовых туч, проколотых шпильями кремлевских башен, оплодотворенное природной мнительностью и расчетливым анализом, зарождалось мнение...

Февральским студеным вечером Киров вернулся в Ленинград. В Смольный так и не заехал, хотя планировал, и многие знали о его планах. Поэтому здание смольного было освещено и оживленно – многим хотелось получить информацию о съезде из первых рук.

Мильда Драуле сидела за столом приемной как на иголках. Чтобы отрешиться от нескончаемого ожидания. Она пробовала читать, вязать, чертить запутанные геометрические фигурки-головоломки. Но все мысли были далеки от ее затей. Наконец, она бросила всю эту бессмыслицу и воззрилась на телефон как на некую панацею – вот-вот раздастся тот самый, тот единственный и нужный звонок, и все вернется на свои круги.

Она соскучилась за эти дни. Киров настолько вошел в ее сознание, в сердце, в душу, что сутки без него ей уже чудились едва ли не катастрофой. Ей не надо было физического общения, даже просто его пребывание за стеной, его голос, его шаги, его дыхание успокаивали ее – он рядом, и прекрасно.

Драуле боялась Москвы. Боялась необъяснимо, на некоем инстинктивном уровне. Она ждала оттуда некоей беды. И когда первый секретарь обкома выезжал в столицу по разным делам, ей спокойствие исчезало – она переживала за него, точно он отправился на фронт сражение. Возможно, это инстинктивное неприятие столицы выросло в ней с тех пор, когда Киров стал возвращаться из частых своих поездок туда все озабоченнее, все замкнутее. Он ничего не говорил ей о том, как он съездил, и она не расспрашивала, но это его утомленное состояние передавалось ей безошибочно. Иногда ей представлялось, что в Москве кто-то очень хочет разлучить ее с ним, и потому он так часто туда отправляется, чтобы это было не так, и ему очень достается за это, оттого он по приезде часто имеет усталый и виноватый вид.

И сегодня он должен опять вернуться оттуда. Со съезда. Она слушала его выступления по радио, вместе с работниками смольнинской канцелярии, в кабинете которых специально для этого была смонтирована радиоточка.

Она не представляла его за трибуной съезда, не все понимала из того, что он говорил, но зато впитывала в себя все его интонации, энергию голоса,

уверенность и гордилась им. Гордилась по-особому, как влюбленная женщина, которая обречена продемонстрировать эту гордость всем и без стеснения.

Мильда вздрогнула от быстрых шагов. Нет, эти шаги не были похожи на его шаги.

Вошел Чудов. Он был одет в пальто с меховым воротником и серую пушистую заячью шапку. Несколько секунд потоптавшись, для чего-то сняв шапку и тряхнув ею о пол, словно от снега, он произнес:

- Товарищ Киров не придет. Он позвонил и сказал, что все могут быть свободны. Можете идти домой, товарищ Драуле.

Тут же развернувшись, ушел.

Драуле почувствовала, как по позвоночнику у нее скользнуло вниз что-то холодное и липкое. Она всхлипнула, но тут же вскочила и вытерла мокрые глаза. Он не придет.

Первый раз, возвратившись из столицы, он не заехал в Смольный. Она гнала от себя мрачные мысли, пытаясь сосредоточиться на другом, но отчего-то в голову лезло одно – ой, неспроста так. И какая же она дура – загадала этим утром, что если она сегодня увидит его после возвращения из Москвы, то у них двоих все будет в наступившем году хорошо и ладно.

Она не увидела его. Это – знак беды.

Следующее утро ничем не напоминало ее мрачных предположений. Откуда-то из репродуктора доносился же марш энтузиастов. Киров, как она ни старалась пораньше прибыть на работу, уже был в своем кабинете, и оттуда доносился его звонкий голос. Ну вот же, успокаивала она себя, ничегошеньки не случилось, и что она надумывает все темное. Ну, подумаешь, не приехал... Не смог, и не муж он ей ведь, чтобы отчитываться. Надо помнить о деликатности их отношений и не втирать в голову разную бабью ерунду.

У Кирова действительно с утра уже наметился напряженный рабочий график.

Чудов с планами развития города корпел над разложенными картами, впериw взор в острие карандаша в руке Кирова, уткнувшегося в закрашенный зеленым массив.

- А вот тут мы с тобой недосмотрели. Глянь, Михаил Семеныч, какой здоровенный микрорайон.

- Да, областной центр поместится, - согласился Чудов. - А что, собственно...

Киров постучал карандашом по массиву:

- А то. Зона, свободная от заводов, этакая, как бы тебе сказать, спальная, что ли, зона – придумано здорово. Это – по-большевистски. А вот школ и детских садов здесь – кот наплакал. Ну, посуди сам. Что же, выходит, детишек будут возить аж черт его знает куда? Вместо того, чтобы недалеко от дома спровадить пострела в ясли или там в школу, а потом самому нестись на работу, человек должен сначала переть его несколько километров,

кружить, надрываться, уставать, - какой из него после полноценный строитель социализма получится! А? Ну, чего киваешь, как конь после овса. Непорядок.

Чудов потер щеку:

- М-да, Сергей Мироныч, вы правы. Как-то мы и в самом деле недооценили этот вопрос.

Киров бросил карандаш на карту:

- Посмотри, где пятна есть – там построить можно. А если туговато выйдет, черт с ним – возьми от наших совучреждений, ничего временно потеснятся, их и так у нас что-то развелось. На надо следующие поколения воспитывать, чтобы они изначально были за Советскую власть. Детсады и школы – лучшая агитация за нас.

Чудов быстро свернул карты и макеты.

- Хорошо, Сергей Мироныч, доработаем. Я могу идти?

- Давай. Чего там.

Не успел Чудов уйти, как тут же появился Жданов. Радужно улыбаясь (Жданов тоже ездил на съезд, но уехал обратно раньше Кирова), он протянул ему руку

- С добрым утром, Сергей Мироныч!

- Привет, Андрей! – деловито поздоровался Киров. – Проходи.

- Ну как, оклемался после Москвы?

Киров улыбнулся:

- Еще гудит в голове. Но гул хороший, здоровый гул. На дела настраивает.

Жданов, словно ожидал этих слов единомышленника, мгновенно расцвел:

- Я тоже еще не могу в себя придти. Какое-то окрыление, понимаешь! Вот что я думаю, Сергей Мироныч! Надо бы нам эту атмосферу съезда здесь, в Ленинграде, донести до рабочих масс.

Киров оживился:

- Верно! Что предлагаешь?

Жданов прошелся по кабинету, пожевал губами:

- Да организовать выступления перед трудовыми коллективами, поднять в прессе и литературе тему – победителей. Мы должны воспитать гордость в народе за себя, свои возможности. Трудовой энтузиазм – большое дело. И враги оставшиеся – заглохнут, попрячутся по щелям.

- Я – за, отозвался Киров. - Вот что – ты составь график выступлений по заводам. Я поеду, переговорю с людьми. А на себя возьми журналистов и писателей. Они тебя уважают, ты у них – авторитет.

Жданов потупился:

- Ну уж, авторитет.

Киров расхохотался, впрочем, тоже немного деланно, как и потупившийся в ожидании похвалы Жданов:

- Не приbedняйся. Наши пролетарские писатели о тебе высокого мнения. Крепи с их помощью нашу коммунистическую идеологию назло всякой нечисти и в радость советским людям.

- Тогда не буду мешкать, - посерьезнел Жданов. - Начну с журналов – «Звезда» и «Ленинград».

Киров похлопал его по плечу:

- Вот-вот, с них и начни, там тебя особенно ценят. Да, и вот что – поменьше славословий персональных. Все наши победы – это победы партии, а не Иванова, Петрова и Кирова. Понял?

Жданов недоуменно иогнул бровь:

- Гм, а – товарищ Сталин?

Киров решительно махнул рукой:

- Товарищ Сталин тоже не любит медных труб. Отдать должное ему – конечно, тыщу раз, конечно. Но чтобы доходчивее для людей было – надо вопрос ставить так: партия и Сталин – факторы нашей победы. А – не наоборот.

- Вам, оно виднее, - неопределенно потянул Жданов, но тут же кивнул в знак согласия. -. А как отнесется к этому Москва?

- Правильно отнесется, - заверил Киров. - Давай, действуй.

Жданова сменил Медведь.

Начальник Ленинградского ОГПУ на съезде не был, ибо слег от воспаления легких, а когда оклемался, съезд заканчивался, да и в городе надо было кому-то контролировать ситуацию. Медведь искренне радовался возвращению Кирова, считая, что тот за съезд одним махом вознесся еще выше на партийном Олимпе.

- Ну, здорово, Мироныч. Здоров, победитель! Ух, черт, какой ты важный стал.

Они по-приятельски обнялись.

- Важным я не стал. Просто дела с утра одолели.

- Ну, как обстановка в Москве?

Киров потянулся, разведя руки в стороны:

- Хорошая обстановка. Бодрит! Ни разу, наверное, не возвращался с Москвы в таком настроении. Руки чешутся – работать, работать.

Медведь оглянулся на дверь кабинета. Притворена крепко. Но на всякий случай понизил голос:

- Хозяин – как?

- Крепок, тверд, энергичен, - сказал Киров.

- А с тобой – как? - в глазах Медведя светились участие и волнение.

Киров внимательно глянул на него и невольно рассмеялся:

- Ну ты, как заботливая мамка. Как да как – кучка будет. Хорошо относился. Так относятся только к лучшим друзьям.

Медведь посветлел лицом:

- Ну и хорошо. Хорошо, - повторил он и переменял тему. - Я вот что – хотим тебя в наше новое строящееся здание пригласить, на Литейный по адресу – четвертый дом. Все ж ты вроде крестного отца того дома

получаешься. Посмотришь, там уже много чего сделано, даже отдельные кабинеты, чай пить можно...

- Ладно, ладно! Выковыривай в моей сутолоке пару часов – обязательно приду, - Киров постучал пальцами по крышке стола. - У тебя как все – нормально?

Медведь поугрюмел, но ответил твердо:

- У меня – да.

Киров подошел к нему вплотную:

- А по моей персоне – какие у вас новости?

Медведь не отвел взгляда:

- Затишье у нас – по твоей персоне. Вот кумекаю – хорошее оно или поганое затишье. Ну, не буду тебе тут мешать. У тебя делов после Москвы накопилось, вон в приемной не протолкнуться. Бывай, Мироньч.

Киров задумчиво посмотрел ему вслед:

- Бывай, бывай.

Приемная Кирова опустела лишь под вечер. Он за это время ни разу ее ни о чем не попросил, не выходил даже пообедать, не требовал даже чая. Это было как-то странно. Неужто он такой загруженный, что ни секунды не имеет передышки? – думала она. И сама себе отвечала. – Ну, конечно, ведь какая уйма дел. И все же где-то в глубине души не давала покоя червоточинка – не все так, далеко не все так. Не хочет он тебя видеть, с чем-то тяжелым он вернулся из этой проклятой столицы, сторонится тебя. Потому и не кажет носа, не замечает вовсе.

Драуле все порывалась, набравшись терпения заскочить в его кабинет по каком-то ничтожному поводу, чтобы напомнить о себе, но трусила в последний момент, предчувствуя, что ее ждет какое-то нежданное и тяжелое объяснение. И она оттягивала это объяснение, надеясь – ну вот-вот он появится, улыбнется и подмигнет, как обычно, и она будет счастлива. Но это «вот-вот» не происходило, и томительные минуты превращались в томительные часы, а ничего не происходило.

Ее сердце к исходу дня билось все тревожнее. Она твердо решила дождаться нужного мгновения и все выяснить. Вчерашнее плохое предчувствие, утром исчезнувшее, вернулось обратно и еще более мрачным. С отчаянием обреченного, сознающего, что услышит самое плохое из того, что он представил себе, и все же идущего на этот садизм души, который все же лучше, чем любая неопределенность, она, выждав минут десять после того, как от Кирова ушел последний посетитель, решительно встала из-за своего стола.

Громко выдохнув, она тихонько постучалась в дверь, не услышав ни звука, открыла дверь и вошла.

Киров, зажав голову руками, читал документы, попыхивая папироской, бегло делал пометки карандашом на полях. Он был столь увлечен, что не заметил вошедшую Мильду

Драуле медленно приблизилась:

- Здравствуйте, Сергей Мироныч... Здравствуй, Сережа.

Киров поднял голову и разогнал руками клубы дыма. Голос его был спокойный и будничныи:

- Привет, Мильда. Видишь, вот, закопался, устал. Там есть еще кто, в приемной?

- Никого, - ответила она и тут же поспешно добавила. - Я и охране сказала, чтобы больше никого к вам не пускали. Разорвать готовы человека. А ты – один.

Киров нахмурился:

- Ну, так бы не стоило. Мало ли что у кого срочное. Да ты, вижу и командовать тут научилась без меня?

Она не поняла тона его реплики и обиженно сказала:

- Я берегу тебя, Сережа. Хотя тебе – все равно – забочусь я о тебе или нет.

Киров подумал и отложил в сторону документы, и пытливо посмотрел на нее:

- С чего ты это решила?

Сама не зная почему, она выпалила:

- Перед отъездом ты обещал заехать в Смольный по возвращении. Я тебя как дура, ждала, ждала...

Киров устало вздохнул:

- Прости, Мильда. Не смог. Я чертовски вымотался за эти дни. Даже победители имеют право на усталость.

Мильда с сомнением покачала головой. Кстати, она одела нынче свое любимое платье, которое нравилось и ему, но теперь он не обратил никакого внимания на ее наряд, и это больно укололо ее:

- Врешь ты, Сережа. Ты просто не думал обо мне. Забыл. Что там какая-то глупая секретарша, когда ты – вождь. Когда твое имя – в каждом доме. Я слышала радио, слышала здесь по всему городу, как тебя обожают. Моя маленькая любовь не затмит эту всенародную.

Киров недовольно поглядел на нее и отмахнулся:

- Пустое ты говоришь. Народное ликование и энтузиазм – это от сознания своей силы и торжества этой силы.. И я ликую вместе с народом. Да и не вождь я – ты уж загнула совсем.

Она не уступала. Все накопившееся рвалось наружу, и она не хотела больше держать это в себе:

- Неважно. Ты купаешься в этом энтузиазме, он тебя затягивает с головой. А я? Куда там я? Куда там наш сын? Ты о нем вообще редко вспоминаешь совсем.

Киров тяжело встал из-за стола, прошел к окну, и всмотрелся в темные стекла. В его памяти ожило недавнее:

Он и Сталин в пустой кремлевской комнате. Пьют грузинское вино перед отъездом его, Кирова, в Ленинград после съезда. Он очень хорошо запомнил этот разговор.

Сталин, смакуя глоток вина, чмокает, порывается поставить стакан на столик, но передумывает и на свет рассматривает цвет вина в тонком пузатом бокале:

- Замечательный съезд, настоящее единство партии и народа.

- Это не только единство, Коба, это – любовь. Настоящая, - дополнил его он.

Сталин вдруг загадочно усмехнулся:

- Такая любовь – высшая. Другая любовь к женщине, например, недостойна быть рядом с этой. Так, Сергей?

Он тогда кивнул:

- Да.

Он твердо сказал это слово – да. И потому, что это было верно, и ради того, чтобы поддержать друга, недавно перенесшего страшное горе – потерю жены.

Сталин прищурился:

- А ты какую любовь ставишь на первое место?

- Любовь к партии. Как же иначе?

Именно так он и ответил. И услышал тихий грустный и жесткий голос вождя:

- Верно, мой дорогой Сергей. Мы, большевики, не имеем права отдавать себя другой любви, раз судьба нам дала эту. Любовь к женщине – проходит, такая любовь может быть ошибкой, в такой любви всегда есть унижающее, ставящее в зависимость от женщины. Ее капризов. Это – удел слюнтяев, а не героев. А мы не должны быть, нам не дано такого права – быть слюнтями. За нами – страна, народ, партия. Обабимся, замрем у юбок – хана. Ты понимаешь меня, Сергей?

И Сталин пристально посмотрел ему в глаза. Он запомнил не только разговор, но и этот взгляд...

Киров отошел от окна:

- Прекрати. Мильда! Ты рассуждаешь как эгоистка. Как буржуйка, извини. Я не могу, не смею принадлежать тебе одной. Вот ты сказала – вождь. Допустим, один из лидеров. Да? Да! Целой страны. Страны, которая десять лет поднимается из руин гражданской войны, страны, которая выбрала коммунизм. Промышленность, сейчас – сельское хозяйство – мы переворачиваем целые пласты целины прошлых устоев и строим новое будущее. И я среди тех, кто руководит этой стройкой. И другой судьбы у меня нет. Ты предлагаешь, чтобы я все это дело моей жизни размебнял на пуховую постель с утехами и колыбелькой? Тогда я буду не Киров, а – подонок, предатель.

Она непонимающе уставилась на него. Она действительно не разумела значения этих слов:

- Не может быть счастливого будущего без счастливого настоящего. – пробормотала Мильда.

Киров взял ее за плечи:

- А у нас и настоящее – прекрасно. Прекрасно своим созданием, верой в лучшее завтра. И – оно придет это завтра, сделанное нашими руками. Это же самое настоящее счастье!

Мильда ощутила его руки, но их прикосновение было пресным, не горячащим, и она вымолвила, как истину, которую почему-то подзабыл ее любимый учитель:

- Не может быть счастья без любви.

Киров убрал руки с ее плеч:

- Может! Правда, это иное счастье – не мещанское. Когда ты чувствуешь дыхание своей страны, идешь с ней в едином порыве. Я это прочувствовал на съезде...

Но она тянула свое. Ее отчего-то не манили рисуемые им дали. Там было как-то неуютно.

- Без любви... - с сомнением медленно произнесла она, и тут же вскинула голову. - Ты больше не любишь меня?

Киров от ее чисто бабьей непонятливости резко топнул ногой и повысил голос:

- Да не о том я говорю. Любовь, любовь! В настоящий текущий момент главное для меня – строить новую жизнь, я должен многое успеть построить, чтобы спокойно глядеть в глаза грядущим поколениям. Как коммунист я не имею права на остальное. То, что мешает мне строить, следует отбросить. Как обузу. Иначе мы потонем в сюсюканьях и вздохах при луне, и ни черта не сделаем.

- Ты говоришь со мной как с трибуны перед рабочими, - тихо заметила она. - А я всего-навсего – женщина, которая ждет других слов.

Он дернул за ворот гимнастерку, словно ему стало душно. На пол покатила оторванная пуговица.

- Не будет других слов. Пойми. Ты есть у меня – это хорошо. Это просто замечательно, но у меня есть и город, есть страна, за которую я тоже в ответе, и в куда большем, чем перед тобой. Пойми же это, наконец, и не требуй от меня другого.

Она еще сопротивлялась:

- Если отказывают в любви, то это ваше будущее несчастно.

Но и он раздражался от ее мещанского заскорюзлого упорства, ставящего чувства впереди лучезарной идеи.

- Нет, нет и нет! – выкрикнул он. - Ты мыслишь очень узко. Мы живем в переломную эпоху, нас окружает много врагов. Пойми это. Мы обязаны сделать сильную и грозную державу. И у нас мало на это времени. И транжирить его на какое-то другое, на что-то другое – позорно и недостойно меня, как Кирова, как – коммуниста.

Она отступила шаг назад. Она все поняла. Она должна была понять это куда раньше, но слепое чувство к нему сделало ее уязвимой и неразумной к реальности:

- Выходит я, обуза, - пролепетала она. - Спасибо, объяснил. А я-то, все верчусь, изворачиваюсь, чтобы тебе каждый день солнечным сделать да

самой не утонуть. Мой муж – тоже маленький ребенок. Мне жалко его, и я боюсь, что будет, если он все узнает. Я боюсь, что однажды сюда войдет твоя жена. Я боюсь взглядов твоих подчиненных, в них я вижу упреки себе. Я боюсь черных машин, которые проезжают мимо меня. Я боюсь за своих сыновей. Вот такое у меня настоящее счастье... - она не заметила как ее шепот превратился в крик.

- Да не кричи ты... - зазвенел его голос.

Она смотрела на него в упор сухими воспаленными глазами, в которых что еще серело:

- Буду, буду кричать. Да, я всего боюсь, но только подумаю о тебе, подумаю, что увижу тебя, так я согласна и на эту боязнь. Согласна все вынести и пережить, только бы ты был рядом. А ты от меня отгораживаешься стройкой будущего. Я вижу, что в твоей жизни мне места больше нет.

Киров сердито сплюнул и шагнул к ней:

- Ты все поняла не так. Ты глупишь!

Она отступила еще на шаг:

- Нет, так! Я все поняла так. Ты все врешь. Ты не любишь свою жену, но живешь с ней. Говоришь, что любишь меня, но отталкиваешь меня. Ты радуешься, что у тебя сын, но ты сторонись его, словно он какой-то заразный. Если нет счастья в душе, если страшно и больно, если мы с тобой встречаемся как воры, - и это наше настоящее, то – какое будущее ты строишь, кому там будет хорошо? Где же твоя правда? Эх, ты...

И Драуле, плача навзрыд, выбежала из кабинета

Поздним вечером того же дня, в полную темень, машина Кирова тронулась от Смольного. Киров как-то ввалился в машину, рухнул справа от своего водителя и замолчал. Киров выглядел очень утомленным, что-то его удручало. Он закурил, после зажег еще папиросу. Через минут пять, пока водитель робко осведомился:

- Домой, Сергей Мироныч?

Киров помолчал, выбросил папиросу за окошко, сложил ладони за шей и как-то просительно сказал:

- Нет, не хочется. Знаешь что, а повози ты меня немного по ночному городу...

Он ни о чем не думал. Он не мог больше ни о чем думать. Его раскалывало пополам от любого намека на мысль. Он выдохся. Бездумно и бесцельно уставившись в темноту, освещаемую ночными фонарями, пролетающими мимо машины, он пытался вздремнуть, но сон тоже оставил его.

Машина, наконец, остановилась у его дома. Попрошавшись с водителем, Киров медленно пошел к своему подъезду. Охрану возле своего дома он запретил ставить, сказав Медведю, как отрубив:

- Я от народа сторожиться не буду. Какой же я любимец народа после этого буду, если от него твоими маузерами ошетилюсь...

В парадной неожиданно к нему скользнула тень. Киров, хотя человек и не робкого десятка, вздрогнул и остановился. Предупредительно подняв перед собой правый локоть.

- Это я, Сережа. – услышал он голос Мильды.

Он обнял ее просто и крепко:

- Мильда, боже мой, в такой час! Да что же это с тобой.

- Я не задержу тебя, Сережа. Я, правда, на минуточку.

Она очень волновалась, нервно дышала, и он чувствовал, что она на грани срыва. Но в этот миг он не мог ей сказать утешительных слов, он в самом деле выдохся, и был способен лишь крепко держать ее с своих объятий.

- Ты вся дрожишь, - все же нашел он какие-то слова.

Она нежно провела пальцами по его щеке и прижалась к нему доверчиво и примирительно:

- Это неважно, это пройдет. Сережа, прости меня. Прости, умоляю. Я готова любить тебя всю жизнь так, как ты этого хочешь. Как ты. Ни попрекну, не пожалуюсь. Только – как ты хочешь....

Глава 2

Весна 1934 года повернула вспять загулявшую непогодь, прогнала ее звонкой капелью и ласковым солнцем, словно извиняясь за суровую блажь природы и погоды.

Веселый перезвон трамваев сообщал – холода и дрязги позади, да будет свет! Первая зелень парков возбуждала лирический настрой и как бы предупреждала – скоро на скамейках снова будет слышен шепот первых признаний, да здравствует любовь! Проходящий ледоход по Неве уносил с собой черневшие горбатые льдины ненужных воспоминаний и переживаний, да будет всем удача!

Окна института ВКП (б) не выходили на Неву, но свободный бодрящий запах оттуда будоражил и завлекал. Сосредоточенные запаренные непонятно чем сотрудники института все чаще собирались у курилок, не понимая, почему так неожиданно пропала охота работать еще лучше, еще добросовестнее.

В большом стандартном кабинете с обязательными портретами вождей всемирной пролетарской революции, строго и насупившись глазевшими со стены на двуногих, увековечившими их бессмертные деяния и творения, среди нескольких широких фанерных столов, стилизованных под дубовые, с корпящими там сотрудниками, затерялся стол Николаева.

Сам Леонид Николаев лихо строчил карандашом по бумаге. Весенний бум жизни придал ему творческое вдохновение, и потому работалось легко, новый проект уже приобретал логический законченный вид, требовалось лишь вывести надлежащее окончание. Он даже тихо подпевал про себя, предвкушая, какой будет фурор, если в дополнение к тому проекту о транспортной мобилизации, который находился на рассмотрении у директора

института, и в удачной и славной судьбе которого он был совершенно уверен, он еще представит и этот. Воображение рисовало радужную картину – хриплым от волнения голосом директор сообщает ему, что он потрясен и горд тем, что у него служат такие выдающиеся люди, как Леонид Николаев, и что он ждет от него новых идей, новых проектов, а он – раз и на тебе. Уже готово! Директор смущается, трет мокрые глаза и обнимает его со словами, гений-то какой вы наш советский... И затем коллеги, краснея от зависти и счастья, что им выпало работать рядом с таким титаном, скромно просят автограф, а то и... магарыч? Э, нет, на магарыч он не согласен...

Мысль упорхнула, запнувшись об этот злосчастный магарыч, карандаш в руке с размаху уперся в незримое препятствие и сломался.

Леонид засопел, бросил карандаш на стол и открыл верхний ящик стола – там где-то должен был лежать перочинный нож. Порывшись, он вдруг обнаружил странный конверт. Вчера он сюда что-то положил, кажется, брошюрку по индустриализации. Да, вот она. Но никакого конверта в ящике не было.

Недоуменно посмотрев на него, Леонид взял конверт в руки, на всякий случай оглядевшись по сторонам – все были заняты своими делами, на него никто не обращал внимания. Ничего не соображая, он рассматривал его как диковинку. И гнетущее недоброе предчувствие уже завладевало всем его существом.

Он узнал этот конверт – точно такой же ему подбросили некогда под дверь квартиры.

Трясущимися пальцами, еще раз осмотревшись, - не наблюдает ли кто - Николаев вскрыл конверт.

Там лежала записка.

Бегло, глотая слова, он прочел один раз. Встрепенувшись, зажмурив глаза, открыл их и прочел снова:

Вас уже предупреждали, чтобы вы следили за своей женой. Вы не вняли этому. С прискорбием сообщаем, что ваша жена – любовница. Ее любовник – первый человек в городе. Жаль, что вы узнаете об этом так поздно.

Николаев судорожно сглотнул и впился глазами в текст, словно тот должен был ожить и сплясать перед его глазами гопака. Его глаза стали какими-то выцветшими, какие бывают у невольного потревоженных безумцев. Леонид был не просто потрясен, он был оглушен, точно на него упал колокол. Опять происки его врагов, и какие же они неутомные. И когда – сейчас, когда его звезда должна воссиять на пролетарском небе! Зачем они теребят имя Мильды! Что там еще за первый человек в городе...

Он не мог поймать хотя бы одну нить сразу же разбежавшихся мыслей. Что, кто, почему... Любовница? Его Мильда... Какие же кругом сволочи, хотят втоптать его славу и его любовь в грязь, грязь, грязь...

Все внутри шло ходуном. Он затравленно озирался, пытаясь найти хоть одну ухмылку в свой адрес, чтобы тотчас подбежать и разорвать обидчика на части. Но почему никому нет до него дела!

И вдруг ему захотелось убежать отсюда. Сию минуту. Ему нужно умчаться домой, выяснить все с Мильдой, расспросить ее, увидеть ее глаза и почувствовать тепло ее рук, чтобы она его успокоила. Он даже не взял в толк, что Мильда на работе.

Пот катился ему за шиворот. Серая пелена застила глаза, конверт с запиской в ладони был смят, и крючковатые пальцы еще сильнее впивались в бумагу, раздирая ее на части.

- Николаев, к директору! – позвали его.

Эти слова донеслись до его ушей, словно из какой-то глубокой пещеры. Он содрогнулся, непонимающе обернулся на зов.

- Ну, чего ты, оглох, - к директору, - снов прокричал кто-то, он даже не узнал кто это, хотя очень похожий на соседа по столу.

- Зачем? – вяло спросил он.

- Ну, вроде по твоей этой, ну ты говорил как-то... - звавший его человек, в глазах Леонида превратившийся в расплывающийся очертаниями силуэт, запнулся, потом стукнул себя по лобу. – транспортной мобилизации. Иди же, ждет...

Николаев не понял, что от него хотят.

Человек, как оказалось это вовсе не сосед по столу, а всего лишь посыльный, застыл в недоумении перед ним:

- Леонид Васильевич, вы не поняли, вас вызывает директор института. Срочно!

Николаев, шатаясь, поднялся и пошел в некой прострации. Вот теперь на него весь кабинет смотрел с любопытством, но он этого не замечал.

Кабинет директора института размерами напоминал школьный стадион, в котором можно было затеряться. Николаев всегда с трепетом входил сюда, побеждаемый, в первую очередь, именно размерами кабинета, а не его хозяином. Он благоговел перед размерами.

Вот и сейчас при всей внутренней опустошенности и смятении, с ноющей болью, напоминающей зубную, но во всем теле, он невольно и почтительно выпрямился

- Проходите, товарищ Николаев, - директор, как показалось ему, смотрел на него осуждающе, и это сразу же настроило Николаева на воинственный манер.

- Что вам нужно? – хрипло и отчуждено спросил он.

Директор, невысокий плешивый мужчина среднего возраста, немного удивился его тону и проронил:

- Да, собственно говоря, вот что... - он крякнул про себя за то, что едва ли не сник перед подчиненным и заговорил строго, но сдержанно. - Мы внимательно рассмотрели ваш проект о транспортной мобилизации. И пришли к выводу. Этот проект, этот ваш проект о транспортной мобилизации ну, скажем так, неосуществим.

Николаеву будто бы отвесили пощечину. Он даже вскинулся. Второй удар за последние полчаса подкосил его:

- Да? А почему это?

- Потому что он научно не проработан, - пожал плечами директор института.

- И кто так решил? – угрожающе сказал Николаев.

Директор на всякий случай отошел за стол:

- Вы повежливее, товарищ Николаев. Так решили эксперты, компетентные специалисты.

Больше Леонид не мог вытерпеть всего этого цирка. Сначала проклятая, гадкая специально подброшенная записка, чтобы смутить его. Чтобы вывести его из себя! И посягнули, сволочи, на его святое. Теперь последнее святое – тоже к корню! Он перестал себя контролировать, его прорвало от злости и обиды, от внезапно вспыхнувшей ненависти к столу, к своему кабинету, к ящику с конвертом, к этому плешивому директору...

- Это тут – специалисты? Да тут все сплошь жополизы и тупицы. Хрена лысого они понимают в моем проекте. От зависти, курвы, отвергли. Сами ничего путного создать не в силах, так перережем и другим дорогу, - закричал он.

Директор побледнел:

- Вы что, белены объелись? – тихо и язвительно спросил он.

- Я? Да я умнее тут вас всех вместе взятых, и открыто говорю – я презираю всю вашу жалкую шайку. Суки вы все!

Плешь директора заалела, он медленно выплыл из-за стола, его глаза сузились:

- Что вы сказали?

Николаев смело глядел в его переносицу, желая стукнуть по ней чем-нибудь тяжелым, чтобы наверняка:

- А то, мой проект, моя идея – это гениально. А вы все тупицы!

Директор, еле сдерживаясь, но грозно отчеканил:

- Так вот что я вам скажу, Николаев. Вот это, - он схватил руками проект Николаева, лежавший на столе, и швырнул его на пол. – Бред! Бред! Говорю откровенно – как коммунист и как ученый, и как ваш директор. Все, достаточно с меня ваших, - он сделал паузу и с нескрываемой иронией закончил - великих проектов. Гением себя вообразил. Да вы дурень, батенька!

Это был последний гвоздь, вбитый в его сознание. Николаев истерично завопил:

- Да пошли вы все к черту!

Директор, брезгливо морщась, осторожно переступил через валявшийся на полу труд Николаева, словно там валялись собачьи экскременты, и глянул на него в упор.

- Вы совсем зарвались, Николаев. Такого поведения больше здесь никто терпеть не будет. Я сегодня же поставлю вопрос на партбюро об исключении

вас из нашей партии. И сегодня же будет готов приказ о вашем увольнении. Хватит с вами нянкатся!

Николаев был уничтожен.

- Что? Меня? Из партии? Завистники! Завистники! Сволочи!

Он сорвался с места и побежал прочь из этого кабинета, ничего не видя перед собой.

Белый свет, померкнув в кабинете директора института, так и не воссиял. Белесая пелена, через которую неясно зырится в него некий оранжевый глазище. И воронье карканье по сторонам, отдаленно напоминающее людские возгласы.

Николаев отрешенно шел по улице, как слепой, натываясь на прохожих, на углы домов, витрины магазинов и афишные тумбы. Куда он шел, зачем? – Он не знал. Ноги сами вели его куда-то. в голове стучали слова – исключить из партии, исключить... - и тупыми иглами втыкались в сердце, натужно переламывавшие эти иглы с кровью и болью.

Он не видел ничего и никого. Он не хотел видеть никого и ничего. Он не хотел больше жить. Он – изгой, бездарь, он – вне партии... К чему жить? И одновременно с чувством обреченности в душе чадила черная ненависть – кто они? Как они осмелились? Мерзкие завистники... - Кто они – он не соображал. Это был абстрактный размытый образ, реальными очертаниями которого выступало только плешивое мурло директора института. Впрочем, только ненависть и поддерживала его силы в этом бессмысленном беге от судьбы.

Николаев покачнулся и ступил с тротуара, чуть ли не под колеса стоящей черной эмки. Он встrepенулся, вяло кому-то извинился и побрел дальше.

Через некоторое время кто-то осторожно тронул его за рукав пиджака. Николаев стал истуканом, глядя куда-то в сторону.

Перед ним вертелся какой-то совершенно невзрачный человек с щетиной по всему подбородку.

- Приятель, вещь продаю. Хорошая вещь... - теребил он рукав пиджака Николаева.

Леонид отмахнулся:

- Отстань!

Однако невзрачный человек не отставал.

- Смотри. Тихо! - человек с опаской оглянулся по сторонам, - на улице ни души, - и достал из-за пазухи тряпицу.

Он аккуратно и быстро развернул тряпицу. На ней матово заблестел пистолет.

- По дешевке, а, хорошая вещь!

Николаев вздрогнул. Ствол пистолета был направлен прямо в него. Сталь манила к себе, как знак свыше.

- Вот она, судьба! – пробормотал он.

Невзрачный человек скривился и воровато зашептал:

- Что ты там бормочешь? Берешь – нет? Другому продам. Такой товар на улице не валяется...

Николаев еще за мгновение до встречи с этим человеком даже не помышлял о каком-либо оружии. Но как только увидел пистолет на тряпице - понял. Именно об этом, об оружии, он стал думать, как только выскочил из директорского кабинета. Именно этого ему не хватало, как воздуха для дыхания, как тепла для кровообращения, как жала для необдуманной, но мести. Только оружие его могло утешить и поддержать еще как-то на этой треклятой земле. Только с оружием он снова представлял силу, угрозу и представал в своих глазах личностью, с которой теперь обязаны были считаться. Он даже прикрыл глаза от вожделенного желания – каким бы ужом завертелся директор, если бы в разгар спора он бы наставил на него этот пистолет! Да повалился бы на колени, зарыдал и стал целовать его пыльные туфли! У Леонида даже сердце сладко заныло от такой картины. Конечно же! Он снова станет Леонидом Николаевым только если у него будет что-то такое, что придаст ему уверенности в себе. И вот он – сей знак судьбы. И он даже не задумался – откуда в центре города, в стране побеждающего социализма, какой-то незнакомец запросто так втюхивает ему настоящее оружие.

А невзрачный человечек, подобно растлевающему душу змию, ворковал на ухо:

- Обойма масляток, патрончиков-с, то есть, имеется. В придачу бесплатненько, хе-хе...

- Беру! – выдохнул Николаев.

Николаев даже не запомнил как происходила купля-продажа, сколько он отдал за пистолет. Обрывки сознания зафиксировали только как он вытаскивал какие-то банкноты из тощего кошелька, трясущиеся руки невзрачного человечка, его лебезящая ухмылка... и дальше – один сплошной мрак.

Он пришел в себя через какое-то время. Внутренний карман пиджака приятно оттягивала тяжесть. И эта тяжесть успокаивала сердце и требовала действий. Внезапно он дико улыбнулся и уверенно повернув, направился к дому.

Невзрачный человек где-то отстал, а затем и вовсе исчез, но Леонида он волновал меньше всего...

Между тем, невзрачный человечек вынырнул из какой-то подворотни, весело насвистывая гоголем прошвырнулся по малолюдной в это послеобеденное рабочее время дня улице и быстро сунулся в открывшуюся заднюю дверцу подрулившей к тротуару черной эмки.

Машина тотчас сорвалась с места.

За рулем сидел Иван Запорожец, желваки бегали по его скулам. Слишком много сейчас было поставлено на карту. Не оглядываясь, он рыкнул:

- Все удачно?

Невзрачный человечек зажмурился от удовольствия и удовлетворенно захихикал:

- Как по писаному. Ничего не заподозрил. А куда мы едем?

- Тебе надо отсидеться, пока в городе быть нельзя. Мало ли столкнетесь?
– буднично отозвался чекист.

Невзрачный человечек солидно раскинулся на сиденье и со знанием дела кивнул:

- Понятное дело, не первый год в агентуре.

Запорожец внимательно и незаметно наблюдал за ним через зеркальце заднего вида салона. Его взгляд был бесстрастен. Разве что складки у переносицы сошлись еще ближе друг к другу.

- Здесь за городом есть местечко, там по тропинке через болотце домик, о нем никто не ведает, там перекантуешься, пока я не позову. – сообщил Запорожец и чуть повернул голову вправо. - Ясно?

- Понятное дело. – весело отозвался невзрачный человечек..

Машина выехала за город и вскоре свернула с большака на какую-то проселочную дорогу. Ее тут же стало подкидывать на ухабах, потому что водитель лишь чуть снизил скорость. Невзрачный человечек ухватился за переднее сиденье, его зубы защелкали, но он помалкивал. Запорожец тем временем внимательно смотрел вокруг, и вдруг остановил машину. Невзрачного человечка так и бросило вперед. Он чертыхнулся про себя.

Они вышли из машины. Вокруг было пустынно. Тишину нарушал щебет глупых и задорных птиц, да шумел кругом лес. Невзрачный человечек потянулся и заторопился за нырнувшим в лесную чащобу спутником.

Запорожец молча шел впереди по еле виднеющейся среди начинающегося долота тропке, невзрачный человек семенил за ним следом.

Через какое-то время тропка привела к затянутому зеленой тиной болотцу. Запорожец внезапно остановился. Невзрачный человечек едва не налетел на него. А дальше произошло что-то непонятное.

Запорожец одним рывком достал пистолет, стремительно повернулся к невзрачному человеку и выстрелил ему в голову.

Тот упал с застывшим выражением недоумения и испуга.

Запорожец склонился над ним:

- Ты погиб не зря. Так надо... Советской власти.

Он спихнул труп в болото. Запузырилась недовольно потревоженная болотная вонючая вода. С веток шумно взлетели потревоженные выстрелом птицы.

Тем же вечером Запорожец прибыл на секретную явочную квартиру на малоприметной Очаковской улице, которая была неизвестна даже местным чекистам, и была оборудована по прямому и негласному указанию свыше в целях бесцензурной и неподконтрольной местным властям передачи и получения необходимой информации центра.

Он говорил по телефону ВЧ, все же прижимая трубку ладонью. Мало ли что. Даже у секретных стен есть секретные уши.

На другом конце провода, в Москве, абонента слушал сам Ежов.

- Докладываю, что план сработал. Объект был подготовлен и взял игрушку. Думаю, что сегодня-завтра он сломает ее о куклу, - медленно и внятно говорил Запорожец.

- А хватит ли у него сил? – усомнился Ежов.

- Мы все сделали, чтобы силы появились, - уверенно сказал Запорожец. -. Правда, пришлось пожертвовать самым ценным кадром...

- Не хнычь, - услышал он одобряющий тембр в голосе патрона. - Без жертв ни одно стоящее дело не обходится. Молодец, все продумал и исполнил, теперь осталось...

- Ждать. Думаю, скоро... - закончил недоконченную фразу Запорожец и положил трубку.

Ежов тоже положил трубку и улыбнулся. Он считал и себя молодцом. Этот план притащил ему Ягода. Ежов оценил его циничность и эффект, но при этом сразу же, устно одобряя, подумал, что если он сработает и будет верно оценен вождем, то он представит его как собственное изобретение, а если, случаем – не сработает, то вину он, без обиняков, переложит на уважаемого товарища Генриха и безмозглого исполнителя. Сам же останется в стороне и целости.

Запорожец, посмотрев на голый давно небеленый потолок, на висящее пыльное зеркало посередине стены, процедил сквозь зубы:

- Этот идиот сегодня-завтра укукошит свою сучку, Киров сгноит Медведя, я, наконец, стану председателем.

Драуле, придя с работы, с порога почувствовала нечто неладное. Второпях она сбросила туфли и вбежала в комнату. Малыш спал в колясочке, на диване подле дремала ее мать.

Драуле облегченно вздохнула и прошла на кухню.

На кухне застывшей статуей сидел ее муж. Он безмолвствовал, даже не повернул головы на ее появление. Весь его растрепанный вид и ужасная бледность на лице свидетельствовали, что случилось что-то очень плохое. У Мильды засосало под ложечкой.

- Леня, Ленчик, - она подбежала к нему. – Боже мой, да на тебе лица нет – да что с тобой?

Николаев молчал.

Мильда посмотрела в его немигающие глаза и в ужасе отшатнулась. Она увидела там совершенную пустоту, словно заглянула в бездонный и высохший колодец.

Она села перед ним на колени и начала его гладить, приговаривая, как ребенку.

- Леня, мой большой маленький котик. Ну что нас обидело? Кто посмел обидеть ершистого и такого милого Ленечку? Славненький мой, милый мой Ленечка, отзовись мне...

Николаев вдруг начал мелко дрожать, затем навзрыд заплакал, его стала бить истерика. Из его горла вырвалось что-то нечленораздельное. Его рука нашла волосы Мильды и пальцами цепко вцепилась в них.

Ей стало больно, но она не подала виду, и продолжала целовать и ласкать его.

- Я уволен из института. – наконец более-менее внятно промычал Леонид..

Драуле продолжала молча его гладить, унимая дрожь его тела и чувствуя как напряженность мужа уменьшается, он стал обмякать и пальцы немного ослабили хватку ее волос.

Мильда успокаивающе прошептала, как шепчут больному, но выздоравливающему ребенку:

- На твоём институте свет клином не сошелся. Найдешь другую и лучшую работу. Не стоит так убиваться.

Николаев уронил голову меж плеч:

- Меня исключили из партии...

Драуле отшатнулась, оставив клок волос в пальцах мужа. В ее глазах мелькнул ужас.

- Этого не может быть, - пролепетала она.

- Меня исключили из партии, - повторил он, как эхо. - Я не хочу больше жить.

Она не знала, что сказать. Машинально на ум приходили какие-то слова и выталкивались наружу через пересохшие десны:

- Вот еще... Нет, это нелепо, это ужасно... Это ошибка какая-то. Да объясни ты толком, по порядку.

- Все против меня... Все... И ты... - твердил Николаев, уставясь в одну точку.

- Да прекрати стонать! – она затрясла его. - Тряпка! Что произошло! Говори!

Леонид медленно перевел на нее отстраненный взгляд, полный отчаяния:

- Ты – шлюха?

Мильда, не раздумывая, наотмашь ударила его ладонью по щеке. Ее наполнил гнев.

- Ты совсем разум потерял? Возьми себя в руки. Рассказывай, что приключилось, - приказала она. - Может все можно исправить.

Николаев недоуменно, но все же с искоркой какой-то надежды уставился на нее:

- Кто? Ты? Исправишь?

- Всяко может быть, - неопределенно и не совсем уверенно сказала она. - Не тяни...

Его белое, как зубной порошок, и без того некрасивое лицо исказила отвратительная гримаса

- Ах, да, я как-то забыл. Да, ты можешь исправить. Конечно, можешь. У кого замолвишь словечко за меня? У самого? У него? В постельке под бочком? Да, тогда точно не откажет, поможет...

Мильда ошарашено отскочила назад, точно обожглась о плиту. Она ожидала всего, любой выходки своего благоверного, но такого откровения, да прямо в лоб... к этому она совсем не была подготовлена:

- Как ты смеешь? Что за сумасшедший бред?

Николаев будто и ждал такой именно реакции. Его взгляд приобрел некую осмысленность и стал колючим и недобрым, безжалостно сверлящим ее в упор:

- Да? Я был сумасшедший. Когда верил тебе, когда ты уверяла меня, что я гениален. А я – пшик! Мои идеи – пшик! Моя любовь – пшик! Я сам – пшик. Ну так смейтесь, радуйтесь. Бездарный Николаев – ха-ха-ха! Рогатый Николаев – ха-ха-ха. Так тебе и надо, уроду, чтобы не лез на мачту, когда твое место в трюме с крысами. Да?

- Перестань немедленно! Дурак! – крикнула она. еле сдерживаясь, чтобы не залепить ему затрещину.

- Пусть дурак, пусть, - заводился он. - Но у меня есть своя гордость. Я от тебя да от твоего любовничка никакой помощи не приму, не-е-т. Не дождетесь, граждане!

- От какого любовничка? Полоумный! – она заходила по кухне. Заламывая в отчаянии руки.

- А кто у нас первый человек в городе? А? – ехидно выкрикнул он, точно окатив ее ушатом ледяной воды.

Драуле остановилась.

- Боже мой...

Николаев расплылся в победоносной и жалкой улыбке. Впрочем, эта улыбка могла моментально смениться новой истерикой.

- А раскинул-то я своим убогим умишком – а кто это у нас первый человек в городе. Да неужто! Он! Я даже имя его боюсь произнести. Я для него – вошь, червяк! Мне заткнуть язык и скулить под забором остается. А что я могу против него? Кто я? Да он раздавит меня, не заметив. Но я могу, нет, шалишь, я тоже могу. Я – гордый. А вот вам, вот вам – не приму помощи от него, пусть моя разлюбезная жена как ни старается перед ним ножки разбрасывать.

Серые глаза Мильды вспыхнули нескрываемой ненавистью. Она уперла руки в бока, точь-в-точь как Киров, и хрипловатым от волнения и обреченности ситуации произнесла:

Ты – ничтожество! Полное! Дрянь, дрянь! Ты в самом деле вошь, червяк, пепел. Величия хочется! Другие величия делами добиваются, а ты только химерными мечтами ужи мне тут прожужжал. Добейся, чтобы быть великим человеком. Великие не скулят и не ноют от трудностей. Они пересекают лужи, а не обходят их.

Николаев, потрясенный ее словами не меньше, чем ее видом, видом смелой и оскорбленной женщины, какой он не виде ее никогда, трусливо захныкал, отодвигаясь на табуретке в угол кухни:

- Шлюха, шлюха, шлюха. Ничего от тебя не хочу. Уйди прочь! Уйди! Я никому не стану мешать, я знаю, знаю, знаю, что мне делать. Пропадите вы все пропадом.

Мильда с некоторой тревогой, но все же пренебрежительно возразила ему:

- Да что ты станешь делать?

Она сделала над собой усилие. Нет, так нельзя. Леонид вне себя. Горе в самом деле большое, он срывается сейчас и нуждается в ее помощи, а она, негодная, только подбрасывает дрова в огонь. Ему помочь надо. Он, как залетевший воробышек в Кошкин дом, трепещет от ужаса и безумия. Он сейчас готов к любой глупости. Она должна быть умнее. Она жалеет ведь его. Они вместе обязаны превозмочь эту беду, они должны вместе выкарабкиваться из этого омута, и она сделает все, что сможет, лишь бы у него все снова стало хорошо. Он ведь такой нескладный, ее жалкий и все же, ее – Ленечка. И дело было совсем не в любви к нему, дело - в том чувстве привязанности, которое она неизменно испытывала к своему безалаберному мужу.

- Первое – успокойся, все образуется. – она подошла к нему, и как он не вырывался, обняла его голову руками и прижала к своему животу. - Я попробую помочь тебе. Я же здесь, рядом. Ну, давай забудем эту ссору. Я никуда от тебя не уйду. Леня, Ленчик, нам тяжело сейчас обоим. Так давай вместе сцепим зубы и выплывем к солнцу. Увидишь, все изменится. Вот увидишь...

Николаев снова задрожал, перестал сопротивляться и еще больше уткнулся в ее мягкий живот:

- Нет, все кончено. Я – никчемный и никудышный. Я – пыль.

- Ты – мой муж., - продолжала она, словно не слыша его. - И у нас, Ленечка, дети. Твои дети. И мои дети. Наши дети. Что же тебе еще надо. Разве дети – это не доказательство моих чувств к тебе... - в этот миг она верила, что оба сына – от него, от Ленечки.

- Ты меня не любишь. Не любишь! – сопел где-то под ее грудью Николаев, но колючки его перестали быть острыми. Он робко, но все же обнял ее талию одной рукой.

- Ну вот она, я – рядом. Ну что ты говоришь такое, бедный растерянный птенчик. Иди ко мне... Любовь, любовь – это совсем другое. И у одной любви нет никакого будущего. А другая любовь – это долг, - говорила она что-то непонятное ему, но, видимо, так понятное ей самой. - А сложить их друг на дружку – получается крест. Вот и несем мы этот крест. И ты, и я, - и еле слышным шепотом, чтобы уши мужа не услышали, она, вздохнув, добавила. - И он...

Николаев не услышал ее последних слов, всхлипнув он обнял ее обеими руками и замер.

Драуле все так же спокойно и размеренно гладила его по голове и смотрела через кухонное окно, как за ним весело чирикали беззаботные воробы.

В ее глазах застыло невыразимое страдание.

Спустя полчаса Николаев, на щеки которого лег алый румянец, но все так же всхлипывая, пошел в ванную, умыл лицо, и вдруг содрогнулся. Тут же он медленно нагнулся и достал из под ванны пистолет. С минуты он смотрел

на него оторопело, и мучительно вспоминая – откуда взялось здесь это здесь. Откуда оно у него в руках?

Он со страхом посмотрел на закрытую дверь, услышал за ней легкие шаги жены, пошедшей кормить малыша, услышал ее голос, спокойный и любимый, без которого он бы уже, наверное, покончил с собой.

Николаев снова перевел взгляд на ствол, теперь оружие казалось ему хищным зверем, притаившимся и ожидающим своего часа. С отвращением и каким-то облегчением он быстро положил пистолет под ванную и запихнул его ногой подальше.

На душе было все так же мрачно, но этот мрак был теперь какой-то убаюкивающий, а не ураганный, недавно затмивший его со всех сторон тучами. И ему стало казаться, что он еще возродится, как Феникс, Мильда поможет ему возродиться. Она рядом, она любит его...

Глава 3

Весна посетила и надолго, судя по всему, задержалась в кабинете Кирова. У него последнее время было самое благодушное настроение. Все спорилось, все получалось, все происходило так, как он того желал.

С Марией Львовной все наладилось, она на удивление быстро отходила от последствий перенесенного инфаркта, отвечала признательностью на заботливость мужа, который удвоил внимание к ней, старался давать ей как можно меньше поводов для волнений. Мария Львовна проницательно замечала, что не всегда эта заботливость искренняя, что за ней кроется желание загладить перед ней свою вину, но не могла не оценить стремление Кирова к налаживанию нормальной семейной жизни. Порой она думала, что у него уже нет никаких любовниц, и – особенно этой наглой секретарши, в которой она не нашла никаких выдающихся женских качеств, и, как ни странно, после нежданного визита в Смольный, почему-то успокоилась, посчитав, что с этой замухрышкой (как она ее назвала) ее ветреный муж долго канителиться не станет. К тому же, он стал чаще и пораньше приезжать домой, меньше пить, и вообще последние месяцы был удивительно жизнерадостным. И ей передавал свою тягу к жизни, и она охотнее и охотнее на это откликалась.

Все более-менее определенно сложилось у Кирова и с Мильдой. Их устраивала ограниченность кабинетными размерами и рабочими часами их любовных свиданий, и в этом даже крылась некая прелесть тайной игры, где окружающим было невдомек какие могли разыгрываться интимные страсти и признания там, где решались серьезные хозяйственные, политические, идеологические и иные вопросы.

Киров открыл окно, он вообще любил свежесть ветра, шум города, и, не боясь никакой простуды, впускал ветер и шумы в кабинет, как только позволяла погода, сел за стол и продолжил телефонный разговор с секретарем парткома Металлического завода:

- Это просто замечательно – такая, понимаешь, инициатива. Я категорически согласен, что все это – производное после съезда. Энтузиазмом мы многого добьемся, но если к этому пристегнуть и умение – цены нам не будет, всех капиталистов умоем. У них же – только умение, понимаешь, но - за деньги. А у нас – другая, брат, платформа. Вот так своим рабочим и толкуй. Хорошо? Ну, бывай, Петрович. А то ко мне народ повалил.

В дверях он увидел мнущуюся Драуле, очень взволнованную и жестом пригласил ее пройти.

- Хороший день нынче, а, ты не находишь, Мильда, - он расправил затекшие плечи. – Доктора рекомендуют больше физических упражнений делать...

- Сергей Мироныч, Сережа, у нас беда... - перебила она его.

Киров вскочил:

- Что-то с сыном?

- Нет, что ты, что ты, - зачастила она, успокаивая его. - Там все хорошо. Детей забрала моя мама. Она хорошо о них заботится.

- Фу, напугала, - рассердился он, но тут же улыбнулся. -. Все остальное не беда. Все поправимо в этой жизни. Ну, что за беда?

Мильда не стала ходить вокруг да около, она знала, что Киров любил, чтобы все говорили сразу и честно:

- Моего мужа уволили с работы и исключили из партии. Вот.

У Кирова глаза изумленно округлились, от откинулся на спинку кресла и присвистнул:

- Ценный фрукт – этот твой муж. Давно бы ты прогнала его поганой метлой. Что он натворил? Если это связано с ведомством Медведя, то могут быть проблемы.

- Нет, нет, никаких преступлений, - торопливо заверила она. - Я тебе как-то говорила, что он одержим всякими идеями, которые считает великими. А его не понимают. Ну, в очередной раз ему все вернули, а он не выдержал и нагрубил.

Киров ухмыльнулся, но увидев выражение лица Мильды, смущенно кашлянул.

- Это же как надо было нагрубить, чтобы вылететь с работы и из партии, промолвил он.

- Да вот как-то и получилось, - сокрушенно сказала Драуле.

- Слушай, - решительно махнул рукой Киров. - Бросай ты этого хлюпика психозного к чертовой бабушке! Чего ты с ним валандаешься? На кой черт он тебе такой нужен?

Мильда опустила руки и медленно покачала головой:

- Нет, Сережа. Я не могу его бросить. Он пропадет без меня.

- Да на черта он тебе сдался? – крикнул Киров.

- Ты не поймешь, - печально, с натугой произнесла она. - Ты – из другого теста замешан. Ты не способен к жалости.

Киров постучал пальцами по столу:

- Это верно. Жалость – это не мужское качество. Это уж по вашей бабьей линии.

Он помолчал. Молчала и она. Пауза затягивалась. Ей было очень неудобно обращаться за помощью к нему по этому деликатному вопросу. Все же, как-то не совсем нормально – просить всемогущего любовника посодействовать непутевому жалкому мужу.

- И чего же ты хочешь? – вздохнул Киров.

Мильда покраснела и тихо сказала:

- Помощи. Твоей помощи. Если не ты, ему никто не поможет. Вот так, Сережа.

Киров вскочил и заходил по кабинету, заложив по привычке кулаки в бока:

- М-да, ситуация. Я борюсь против всяких слюнтяев, бездельников и неврастеников, мешающих нам строить новую жизнь, а ты упрашиваешь одного из них включить в нашу упряжку, - он подошел к ней и мягко положил руки ей на плечи. - Не по нутру мне это дело.

Она понимающе кивнула и подняла на него серые глаза, полные слез и отчаяния:

- Ни о чем больше просить не буду, Сережа. Клянусь. Я не только жалею Леонида, я боюсь его. Мне порой кажется, что он способен на какую-то страшную дикую выходку. Я боюсь за детей... И все же он очень добрый и жалкий человек, - быстро добавила она.

Киров взял ее за подбородок.

- Ох, Мильда, Мильда, что ты со мной делаешь. Ну просто ни в какие ворота... - он улыбнулся и решительно сказал, как распорядился. - Ладно. Но передай ему – последний раз. Если набедокурит хоть на мизинец, вылетит с требухой к едреней фене.

Он подошел к уставленной телефонами боковине стола и крутанул диск одного из них.

- Алло? Платоныч, с пролетарским приветом, Киров. Слушай меня, не перебивая. К тебе подойдет, жестом он попросил Драуле написать данные мужа. - Э.э.э. Николаев Леонид Васильевич, двадцати трех лет от роду, возьмешь его к себе в райком инструктором. Да, и восстановишь в партии. Я тебе сказал – не задавай вопросов. С исключением мы тут покумекаем, как все исправить. Но следи за ним и, если только этот босяк начнет гнать стружку, - в три минуты – на улицу. Без всяких объяснений. Понял? Ну, и молодец. Бывай. Да? Разумеется, в понедельник на партхозактиве мы тебя будем заслушивать. А куда ты, черт возьми, денешься? Ну, не дрейфь. Все мы – люди...

Киров положил трубку.

Просиявшая Мильда подбежала к нему, восторженно обняла, и со всей нежностью, на которую была способна, поцеловала его.

- Сережа, как же я тебя люблю.

Киров, посмеиваясь и отвечая на поцелуй, погрозил ей:

- Хитрая ты баба, погляжу. Есть же в тебе этакий чертик, что меня заводит...

Распаренный Генрих Григорьевич Ягода поминутно вытирал выбритую голову от пота. Немилосердная летняя жара, пылавшая за окном, была здесь ни при чем. Пот струился по лицу Ягоды от немигающего холодного взгляда товарища Ежова, которым тот изначально одарил наркома внутренних дел, как только тот получил соизволение пройти в просторный кабинет Николая Ивановича.

- Разрешите доложить, товарищ Ежов, - уткнувшись в папку с документами – так Ягоде было легче говорить, потому что он не видел сурового взора члена ЦК. - Предпринятыми нами мерами была проведена операция по ликвидации известной вам... бабы. Но она завершилась без рассчитываемого нами результата.

- Вами, - уточнил сухо Ежов.

- Так точно, товарищ Ежов, не поднимая глаз от папки промышчал Ягода и продолжил. - В Ленинграде мы сумели создать такую обстановку вокруг этого Николаева, что тот оказался на грани нервного срыва, и тогда ему оперативным путем было вручено оружие, которое, как мы надеялись, он и использует... по назначению. Но... Николаев не стал стрелять в жену. Прошло два месяца, и мы полагаем, что – не станет.

- И оружие до сих пор у него? – осведомился Ежов.

- Так точно, товарищ Ежов. Мы рассчитываем на новый план, который сейчас разрабатываем. Отнять?

Ежов подумал, почмокал губами, налил стакан воды, выпил и сморщился – тепловата, надо выдрать эту чертову секретаршу.

- Не стоит, наконец удостоил он ответом Ягоду. - Но контроль за этим Николаевым должен быть полным и... никому не известным.

- Он под негласным контролем моего человека, - выпалил Ягода, оторвав глаза от папки.

- Какого человека?

- Которого вы рекомендовали – товарища Запорожца. Бодро отрапортовал Ягода, в душе откладывая, что если этот Запорожец наломает дров, то пусть тогда этот чертов Николай Иванович и отдувается.

- Значит, вашего? еле уловимо иронично заметил Ежов, к внутренней радости Ягоды, словившего приманку. - Ну-ну. Запорожец – преданный делу партии человек, и не подведет вас. Хорошо. Изучите до конца этого Николаева. И – можете сделать контроль над ним - гласным. Понятно?

Ягода побледнел:

- Не совсем, товарищ Ежов. Расшифровать наш интерес к нему? Он сдуру способен на любые фокусы. Он же идиот, неврастеник...

- Вот именно... - с ударением сказал Ежов. - Что вас еще беспокоит, товарищ Ягода?

Тот помялся:

- Товарищ Ежов, без вашего совета не могу решить этот вопрос. Должны ли мы поставить в известность товарища Кирова об этом Николаеве? Все-таки неуравновешенный человек, чудак. Мало ли что может сотворить.

Ежов налили снова воды, медленными глотками отпивал и думал над этим непростым вопросом. Сам он его решать не брался, это надо было бы провентилировать только с одним человеком. Пока же он ответил следующее:

- Не надо докучать товарищу Кирову такими мелочами. Для этого есть наши славные органы, которые вы возглавляете.

Николай Иванович Ежов был вызван к Сталину через несколько дней. Стоял теплый поздний вечер, плавно перетекавший в ночь. Слышался бой курантов на Спасской башне.

Кабинет Сталина был наполнен полумраком, на фоне которого отчетливо и зловеще вырисовывалась фигура вождя.

Сталин медленно, как обычно, ходил по кабинету и мрачно повторял информацию Ежова. Тот стоял навытяжку и ловил каждое движение губ Сталина.

- Товарищ Киров предоставил этой бабе отдельную квартиру? – неожиданно поинтересовался Сталин.

- Так точно, товарищ Сталин. Это вызвало пересуды, - дополнил Ежов.

Сталин, не обращая внимания на реплику Ежова и на него самого, продолжал как бы сам с собой, размышлять вслух:

- Товарищ Киров восстановил в партии ее мужа и устроил его на работу в партийный орган? Кстати, что представляет собой ее муж?

Ежов отчеканил по памяти:

- Николаев Леонид Васильевич. Молодой человек. 23 года. Неврастеник, ревнив, очень любит жену, потакает и прощает ей многое. При этом имеет огромное самомнение собственной значимости. Груб, неуживчив, товарищей не имеет. Внешне некрасив, тщедушен, из-за чего тоже злится на весь мир. Привязан к двум сыновьям. Полуживая парализованная мать, к ней, как нам известно, он равнодушен, за ней ухаживает его жена.

Сталин удовлетворенно посмотрел на Ежова. Ему нравилось, что на его вопрос человек отвечает сразу, не вынимая каких-то документов. Это очень хорошо, что товарищ Ежов досконально знает интересующие его сведения. Очень хорошо. Но вслух он сказал другое:

- М-да. Из таких получаются настоящие Раскольниковы, не так ли, товарищ Ежов?

- Так точно, товарищ Сталин, - выпалил Ежов, все-таки заметивший удовлетворенность Сталина и воспаривший от этого на седьмое небо.

Сталин раскурил трубку:

- Товарищ Киров очень смел. Он просто устал. Ему нужен отдых. Нельзя, чтобы эта баба дальше дискредитировала нашего любимого Кирова. Нельзя, чтобы сам товарищ Киров способствовал этой дискредитации. Народ

не поймет, когда соратник Сталина окажется бабником и ославит всю партию и ее вождя на всю страну. Понимаете, товарищ Ежов? А вы все топчетесь на месте, какой уж год длится эта нехорошая история...

Ежов мигом опустил с седьмого неба на грешную землю. Сталин умел в течение одной минуты поднять и уронить любого двуногого, чтобы тот сознавал отведенное ему место в этой жизни, зависящей по большому счету не от него самого.

- Так точно, товарищ Сталин. Виноват, - твердо сказал Ежов. - Примем самые решительные меры.

- Вот именно... Что вас еще беспокоит, товарищ Ежов?

Ежов сглотнул и постарался придать голосу как можно больше проникновенности:

- Товарищ Киров – ваш друг, товарищ Сталин...

Сталин отвернулся к окну.

Наступила долгая и гнетущая тишина.

Да, Киров оставался единственным человеком, к которому он питал человеческую симпатию, если у него еще оставалось что-то внутри истинно человеческое. После страшных ударов судьбы, самоубийства любимой жены, которое он понял как публичную измену ему, многое остававшееся в нем от души сгорело дотла. Пепел – вот что наполняло его мутную душу. И все же Киров всегда умел оттаивать эту душу, сдувал этот пепел одним своим присутствием – его открытый прямой смелый и добрый взгляд, его задор, оптимизм, удаль, бесшабашность привлекали талина, как раз лишенного этих качеств. Но следовало признать – Киров зарвался. Он ни во что не ставит партийную дисциплину и этику. Он ведет себя как царек во вверенном уезде. Ни в черта не ставит дружеские замечания. Это уже похоже на заносчивость, которая не красит любого, а высокопоставленного члена партии – особенно. Неужели Киров настолько возомнил о себе, о своей личности, что ему наплевать – что и как думает партия, народ, наконец он сам, Сталин, о его выходах? Ведь это выходит за все рамки – отдельная квартира любовнице, восстановление в партии и устройство на работу в партийный орган ее умалишенного мужа... Люди же не слепые. И по поведению Киров могут судить также и об остальных членах партии, о самом Сталине!

А ведь Киров – один из самых крупных вождей большевизма. Он пользуется всенародной любовью. Прошедший съезд показал это со всей силой. Со всей силой... В стране появляется настоящий и – второй – вождь. А это недопустимо.

Он любил Кирова как человек. Но Сталин был прежде всего политиком. И это определяло настрой его мыслей.

Он не хотел, он не желал смерти Кирова. Но он понял, что не будет ей препятствовать. Что он переживет и эту трагедию, если она случится. Пусть все идет своим чередом, как и предопределено высшими силами. Он не будет в это вмешиваться. Он не будет отдавать никаких приказов. Он просто будет наблюдать, отдав все бразды правления в этой истории вон этому проворному Ежову. И пусть судьба сама все поставит на свои места. Он

будет счастлив, если товарищ Киров будет жить долго и счастливо. Но он примет как должное, если произойдет нечто иное.

Тихо, даже болезненно, не поворачиваясь, Сталин произнес, видя в окне свой неотчетливый по форме, но черный по цвету, силуэт:

- В политике, товарищ Ежов, в беспощадной борьбе с капитализмом, - друзей нет.

Ежов в знак понимания и согласия опустил голову.

Серое здание райкома партии к концу рабочего дня выплескивало из себя сотрудников, деловито и спешно топавших с сознанием собственной значимости и выполненного на сегодня долга домой.

За углом здания стояла черная эмка. Как только из райкома вышел Николаев, черная эмка мгновенно двинулась за ним на некотором расстоянии.

Николаев шел по улице, насвистывая, и радуясь жизни. Он быстро забыл свое унижение в институте, благо в райкоме по рекомендации Кирова его приняли благожелательно, всячески помогали. Вопрос о его исключении из партии неожиданным образом повернулся так, что партком института принял решение только о выговоре. И тот на недавнем заседании партбюро райкома был единогласно досрочно снят. Короче говоря, жизнь – хорошая штука, и она возвращалась.

Леонид нагнулся, завязывая развязавшийся шнурок. В этот момент рядом с ним остановилась машина - черная эмка. Бесшумно открылась передняя дверь.

Николаев вздрогнул и на корточках взгляделся в человека, сидящего за рулем и давящим взглядом в упор смотревшего на Николаева.

Иван Запорожец выполнял негласную директиву наркома НКВД

- Николаев, живо в машину, - приказал он. - Ну?

Николаев медлил, он растерялся от неожиданности и от повелительного тона незнакомца в машине, но подчинился, ощущая угрозу, исходившую от этой машины и ото ее водителя.

Медленно поднявшись, он облизнул губы, умоляюще посмотрел по сторонам. Запорожец, перегнувшись, грубо хватанул его за рубашку и бросил на сиденье.

Николаев сжался в комок. Он боялся, что его начнут бить. Он всегда не выносил физической боли. Но незнакомец только захлопнул дверцу.

Машина тронулась.

Водитель молчал. И это пугало Николаева еще больше. От ужаса его сознание померкло. И он ничего не мог сообразить – что происходит, почему он оказался кому-то необходим. Да и необходим ли? Что за катавасия скрывается за его похищением? Он не сомневался, что его похитили. Но – ради чего?

Машина. визжа колесами на поворотах, неслась к пустынной окраине. И Николаева вдруг осенило – пистолет! Боже мой! – он похолодел. Ну, конечно же, наверняка схватили того невзрачного человечка, который всучил ему

пистолет, а тот рассказал о покупателе, обрисовал приметы. Он попался. И зачем ему сдался этот клятый пистолет! Как оправдаться, кому что доказать – какого дьявола он приобретал оружие. А жизнь-то, жизнь только начала входить в нормальную колею. Леонид всплакнул.

Запорожец покосился на него, но ничего не сказал, словно не заметил состояния Николаева.

На окраине города он затормозил и медленно повернулся к огорошенному навалившимся на него несчастьем Николаеву.

- Не бойтесь меня, Николаев. Я – ваш друг, - неожиданно приветливо сказал незнакомец.

Николаеву показалось, что он ослышался:

- К-кто вы?

Запорожец просто, как само собой разумеющееся ответил.

- ОГПУ. Моя фамилия вам ни к чему. Впрочем, если хотите, можете звать меня, ну, скажем, Андреем.

Николаев сглотнул от такой откровенности, и его мысли тут же воскресли и скакнули в другую сторону – он не преступник, он необходим этой грозной службе как помощник! Ну, конечно же...

- Товарищ Андрей, товарищ Андрей... как же... я... вы...зачем... - зачастил он.

Запорожец нарочито растянуто выговаривая анкетные данные. подавил вспышку радости Николаева:

- Леонид... Васильевич... Николаев... уроженец Питера, 1910-й год. Женат. Двое детей. Так?

Николаев испуганно закивал:

- Так, товарищ Андрей.

Запорожец равнодушно заметил:

- Могу продолжить. Но – не стоит. Мы и так о вас знаем все. Все. Чтобы делать выводы.

Николаева снова бросило в ужас:

- К-какие выводы?

- Это – нам решать. Вам понятно, надеюсь, что просто так мы ни с кем не знакомимся, - строго осведомился Запорожец, постукивая по рулю кулаком.

- Да, да, понятно... - торопливо пробубнил Леонид.

Товарищ Андрей для чего-то нагнулся вперед, посмотрел на слепящее солнце, недовольно сощурился, словно светило подслушивало их беседу, и опять повернулся к съездившемуся соседу:

- Ну, так вот. Ваше поведение, увы, не осталось незамеченным, и оно вызвало очень сильный интерес.

- Мое поведение? – изумился Николаев, снова вспоминая про чертов пистолет.

- Не прикидывайтесь кретином, Николаев, - грубовато сказал Запорожец.
- . Понимаю, вы обижены, разгневаны. И мне вы симпатичны. Поэтому хочу вас искренне предостеречь..

- О ч-чем? – стал заикаться Николаев.

Запорожец сочувственно посмотрел на него:

- Давай откровенно, товарищ Николаев. Как коммунист с коммунистом. У тебя есть жена. И она нравится не только тебе. Знаешь об этом?

Он ужалил его прямо в сердце. Все погрузилось во мрак тут же. Страдая, Леонид снова начал всхлипывать.

- Значит, это правда?

- Да.

- Зачем... зачем вы... зачем мне это говорить? – просил он сквозь душившие его слезы.

Товарищ Андрей более покладисто, даже ласково утешил его:

- Потому что, как я тебе сказал, я – хочу помочь тебе, товарищ Николаев. Я знаю твою биографию, много знаю о тебе, товарищ Николаев. Ты – честный хороший парень, талантливый, преданный партии, любящий муж... А тобой помыкают, не ценят.... А мне это не нравится. Когда настоящего скромного большевика хотят загнать! Это – несправедливо.

Слова товарища Андрея тотчас окрылили Леонида, и он с жаром крикнул:

- Да, да – несправедливо...

- Потому я здесь. Я хочу помочь тебе. И ты мне должен верить, - наставительно и твердо произнес Запорожец.

Николаев порывисто хотел обнять нежданно новообетенного друга, так быстро понявшего его боль и обиду, но смутился и постарался произнести как клятву:

- Я верю, я верю вам, товарищ Андрей.

Тот кивнул, как будто именно эти слова и должен был сказать Леонид Николаев.

- И слушаться меня должен. Во всем. Иначе – без меня подохнешь, и ни одна собака над тобой не взвоет. Потому как – не отыщет.

- Да, да, товарищ Андрей, - заверил его Николаев.

- Так лучше, - довольно проронил товарищ Андрей. - Да вытри сопли! Ты же – мужик. Сцепи зубы.

- Да, да. Сцеплю... – с готовностью ответил Леонид.

Запорожец наставительно и назидательно стал чеканить:

- Мы, большевики, должны быть честными по отношению друг к другу. Оступился – поддержать. Ошибся – поправить. Но большевик не должен вредить своему товарищу по партии. Верно?

- Да, да! – подался вперед Николаев.

Запорожец продолжал:

- У нас есть идеал в нашей борьбе за коммунизм – товарищ Сталин. И мы должны быть бескомпромиссными как он, и жестко требовать с наших товарищей, невзирая на их заслуги и должности, соответствовать сталинскому идеалу во всех жизненных обстоятельствах. И поставить на место нашкодившего товарища, даже если он заслуженный большевик, наш

долг. Подвиг, если хочешь знать. А ты, парень, способен на подвиг, на свой след в нашей большевистской истории. Спроси себя! И ты поверь в себя.

- Спасибо, товарищ Андрей... Вы верно говорите, я чувствую в себе что совершу подвиг... - Николаев выслушал товарища Андрея, как молитву. Его голова кружилась. Такая честь...

- Подвиг бывает разным – во имя народа, во имя, страны, во имя партии, во имя чести поруганной – все равно это – подвиг. И настоящий мужчина и настоящий коммунист постоит за себя, тогда он способен быть героем. А? Николаев. Ты – настоящий мужчина или нет? – вопрошал товарищ Андрей окрыленного Николаева.

- Настоящий, товарищ Андрей, - выдохнул Николаев, в глазах которого снова засверкали слезы – теперь уже от восхищения и товарищем Андреем, и собой. Не сомневайтесь во мне. Я докажу... докажу. Не подведу вас...

Он не знал, каким образом еще доказать свою приверженность, нет, свою предназначение для дела партии. Позови его товарищ Андрей за собой, побежал бы верной собачкой, прикажи умереть – ни минуты бы не думал...

Николаева даже трясло от торжественности.

- Другого ответа я и не ждал. – товарищ Андрей протянул руку. - Твою руку, товарищ Николаев. И – смелее вперед. Но знай, наш разговор – только между нами. Или -

Николаев благодарно кивнул.

Запорожец завел машину, и она с места рванула в сгущающиеся сумерки.

Вторую половину лета будто кто-то сглазил. Стало прохладно и дождливо. Но не только этим отметился повернувший на убыль год.

Прохладно стало вокруг самого Кирова. И эта прохлада шла из Москвы. Его стали постоянно дергать и вызывать на различные второстепенные совещания, направлять в длительные и дальние командировки.

Ощущалось приближение какого-то беспокойного времени. И это его озадачивало. Как озадачило и неожиданное, и не ко времени приглашение Иосифа Виссарионовича вместе отдохнуть.

Раздраженный Киров собирал вещи. Мария Львовна встревожено и жалостливо наблюдала за ним.

- Черт его знает что, - злился ее муж. - Куда запропастилась моя белая толстовка?

- Сережа, ты ее уже уложил, - спокойно отвечала она. - Ну почему ты так сердишься?

Киров расшвырял чемодан и увидел толстовку на самом дне.

- В самом деле? Да, надо же – здесь, уложил, - пробормотал он. - Да не сержусь я, Маша. Только как-то не с руки мне этот отпуск.

Мария Львовна всплеснула руками от удивления:

- О чем ты говоришь? Тебя же пригласил Сталин. Сам Сталин! Тебе это что-то говорит?

- Ну, заладила. И что значит - сам? Для меня он был и будет моим другом Кобой, - буркнул Киров, про себя признавая ее правоту.

- Пусть так, друг, - согласилась она. - Но тебе в самом деле надо отдохнуть. Ты весь извелся за последний год.

Киров виновато и смиренно посмотрел на нее. Как же она постарела за последний год.

- Ты права, Маша, - мягко сказал он. -. Извини, что кричал. Просто в городе сейчас дел столько, а тут – едь в Сочи, и баста! Ну совсем как приказ это приглашение.

- И правильно, - поддержала Мария Львовна. - Тебе не прикажи, так ты себя угробишь работой. И молодец Иосиф, что приказал тебе. Езжай, Сережа, отдохнешь, и все будет у нас хорошо. Правда?

Он смущенно кивнул:

- Да, Маша, правда.

Затем подошел и обнял ее. Но не страстно. как любимую женщину, а как верного товарища. Мария Львовна почувствовала это и вздохнула на его плече, из ее глаз покатались слезы. Она украдкой поцеловала это плечо...

В Сочи в эту пору господствовал только один цвет – лазурный. Лазурные небеса окунались в лазурную гладь величавого и ленивого моря. Силуэты гор пропадали в дымке и легких белых облаках, коловшихся в своем игривом беге о застывшие в зное пальмы. С предгорных уступов вдаль убегало туманящееся, похожее на спелые пшеничные поля, все то же море, по которому таким комбайном шел пароход.

Дача Сталина находилась на одном из таких уступов, полностью закрытая от постороннего взора сочной дурманящей зеленью. Все мыслимые и немыслимые проходы к этой даче надежно перекрывались бдительной и невидимой охраной, ибо Сталин не любил, когда охрана мозолила глаза.

На самой даче отдыхали трое виднейших членов ВКП (б) - Сталин, Киров, Жданов.

Дни тянулись медленно и как-то однообразно. Киров явно тяготился вынужденным отпуском, но не в его характере было унывать, и он придумывал какие-то забавы, веселя компанию, особенно под отменное красное грузинское вино и аппетитные шашлыки.

Однажды втроем они прогуливались по аллеям дачи. Одна из них привела их к беседке, с которой открывался вид на безмятежное море.

Кирову в этот дел почему-то было муторно на душе, он словно бы предчувствовал, что неспроста Коба, еще тот хитрец, завлек его сюда, и ждал неминуемого объяснения, и с обидой в душе догадывался – какого рода объяснений потребует от него Сталин. Собственно, это и было причиной его тяготы. Но Сталин, словно чувствуя настроение своего друга, оттягивал этот разговор.

Сегодня интуиция подсказала Кирову – разговор состоится. Он заметил, как утром на него мельком взглянул Сталин. Его это удручило, как и то, что Сталин почему-то решил этот разговор сделать не конфиденциальным, то

есть – потащил с собой на прогулку и этого толстого и румяного Андрея Жданова.

Киров шел позади Сталина и Жданова, которые о чем-то судачили. Он не вслушивался в их беседу, полагая, что она его не касается. Но Иосиф Виссарионович неожиданно повернулся к нему:

- Есть древняя горская легенда, медленно и глухо сказал он. - Река влюбилась в море. Оно – огромное, сильное. Она слабая, гибкая. Каждый день, каждую ночь море звало реку. Она хотела, но она боялась. И все же море уговорило. И река бросилась вниз. И море растерзало ее. Своей любовью...И иссякла река...

Жданов от восхищения цокнул языком и проронил:

- Очень красивая и, главное, поучительная история, товарищ Сталин. Я удивляюсь – как вам удается хранить в памяти не только серьезное и важное, но и красивое....

Сталин махнул рукой, прерывая Жданова:

- А чем поучительна эта легенда, а, Сергей? Сергей Мироныч? Ты нас слышишь?

Киров очнулся.

- Извини, Коба, задумался. Грустная легенда.

Жданов опять встрял в разговор, не догадываясь, что начался, уже начался другой, тот самый и важный для Сталина и Кирова разговор, из-за которого и был затеян весь этот спектакль с отпуском. Киров сразу же напрягся.

- А я думаю, - весело щебетал Жданов. - Смысл этой легенды заключен в том, что сила притягивает к себе все поддающееся ей. Оттого она и властвует в мире.

- К силе ум нужен. – заметил Сталин.

Киров с некой запальчивостью, глядя в далекое, плескавшееся внизу море, словно именно оно и поглотило бедную речушку, произнес:

- А зачем этому морю понравилась эта речка? Он что тоже любил ее, выходит? У него, что, других не было?

Сталин рассмеялся:

- Не знаю. Моря и речки похожи, вобщем-то, на людей. Те или подминают под себя глупеньких, или тоже бросаются в бездну не думая, что их растерзают.

- Именно так, подхватил Жданов. - Замечательно сказано.

Киров не унимался.

- А если ими движет некая страшная увлекающая сила? Как мотыльки, например, летят на свет лампы. Гибнут. Но летят ведь, несчастные!

Сталин наступил на плоскую гальку, отбросил ее сапогом, она полетела с обрыва вниз:

- Глупая смерть – удел мотыльков.

Киров подошел к обрыву, наступил на его край.

- А вот мы. Мы можем быть подвержены этому? – спросил он Сталина, наблюдавшего за падением камня.

- Чему? – не понял Жданов

Киров был уверен, что Сталин – понял. Он посмотрел в его сторону. Казалось, что тот всецело поглощен разглядыванием кувыркавшегося уже далеко внизу камешка.

- Ну когда вот, вдруг, взбунтуешься как море, - глухо сказал Киров. - Увидел вдруг речку и поразился ее красоте. И взвыл штормом. И пошел – бродить.

Сталин обернулся к нему:

- Скорее всего – бредить. Впрочем, я далек от этого. Меня бушующие страсти не касаются. Коммунист должен быть выше любой страсти, ибо у нас иной замес.

Жданов тут же ввернул идеологическую норму, словно выступал на партхозактиве:

- Коммунист – это избранность, которая возвышает его над обычными людьми, потому коммунисты – рулевые общества.

Киров кисло поморщился:

- Ну да.

Сталин теперь глядел прямо в глаза Кирову, видя, что тот ожидает его слов, как приговора себе, своей страсти, своей жизни.

- Коммунист должен сам во имя высшей цели принимать решение – служить партии и народу или... быть в плену своих страстей. Честно – или-или. Ибо только безупречный человек – это и есть настоящий коммунист, за которым пойдет народ – даже на смерть. И если какой-либо коммунист небезупречен, то тогда он – не коммунист, а враг нашему общему делу.

Сталин снова повернулся к морю.

Киров содрогнулся от этих слов.

- Сильно, метко, в самую точку, - эхом отозвался Жданов.

Киров опустил голову, ему все стало предельно ясно. Он еще обдумает эти слова. Впрочем, а на какие он надеялся? И что действительно произошло – его всего лишь отчитали или же, или же это было уже предостережение? И что – дальше?

От невеселых дум его отвлек все тот же Сталин. Пряча в усы лукавую ухмылку, он тронул его за плечо:

- Сергей, что приуныл. Море, воздух, горы. Пойдем, сейчас будем пить настоящее кахетинское...

Киров не знал, что в это время Мильда Драуле в дождливом Ленинграде стояла в кабинете Чудова.

Тот сидел в кресле, напряженно глядя мимо нее.

- Вот что, товарищ Драуле, - тяжело ронял слова Чудов. - Принято решение о вашем переводе из Обкома в Управление наркомата тяжелой промышленности.

Мильду точно прошило током, ноги приросли к полу. Она явно ослышалась.

- Нет, не может быть. Это – шутка? – пробормотала она

- Вы что не поняли? – резко сказал Чудов. – Я, что, разве похож на шутника?

- Это...это решение Кирова? – через силу вымолвила она, чувствуя как в горле набухает снежный свинцовый ком.

- Так надо. Вы – свободны.

После отпуска Жданов заехал в столицу, решить кое-какие дела в ЦК. В коридоре он встретил Ежова, который поджидал его уже которой день, и вот сейчас якобы совершенно неожиданно, попался навстречу.

Ежов расплылся в щедрой улыбке:

- Хорошо выглядите, Андрей Саныч. Славно отдохнули?

- Неплохо. – согласился Жданов.

- Может на минутку заглянем ко мне? Чай, коньячок, холодное боржомом, - пригласил Ежов.

Жданов сразу понял, что не случайно Николай Иванович оказался в коридоре, и согласился

В кабинете Ежов взял быка за рога:

- Могу я спросить у вас совета, Андрей Саныч, вы все же ближе...ну, понимаете.

- Ну, ну без церемоний, - демократично отозвался Жданов. - Мы с тобой партийные сотоварищи, что нам недомолвками беседу строить.

- Спасибо, Андрей Саныч, - Ежов понизил голос. - Совет по одному очень щепетильному и важному делу.

- Да уж говори, - благодушно разрешил Жданов.

Ежов еще больше понизил голос:

- Товарищ Сталин сказал, что в политике друзей нет.

- Правильно сказал, - подтвердил Жданов.

- Даже если речь идет о старых друзьях, с кем вместе начинал строить Советскую власть?

Жданов внимательно посмотрел на портрет Сталина на стене, перевел взгляд на Ежова:

- Мы идем очень трудным путем, и на нем даже старые друзья могут превратиться в обузу. Мешают идти. Тянут назад. Так что же – жалеть их или – беспощадно расставаться? – Он замолчал, предоставляя Ежову выбрать вариант ответа, но тот молчал. Жданов ответил сам: - Ответ ясен – расставаться, несмотря ни на какие бывшие заслуги.

Ежов дошел до уровня шепота:

- Товарищ Сталин... тоже так считает.

Жданов наклонился к Ежову:

- Так должен считать любой коммунист, который идет в одной с нами связке. Если он это понимает, мы станем только сплоченнее. Если же он размазывает сопли и не знает что делать, то таким место – на обочине...

- Спасибо, Андрей Саныч, я вас понял...

- Не за что, давай свою холодную водичку, жарко тут у вас, - закричал Жданов.

Киров вернулся в Ленинград в дождливый день. И по приезде в Смольный сразу же узнал о случившемся.

Он немедленно вызвал Чудова для объяснения.

За отодвинутыми шторами в окна били крупные капли. Завывал северный ветер, нагоняя темные тучи.

Киров в крайнем раздражении выговаривал поникшему Чудову:

- Почему без моего ведома, пока я в отпуске, убирают моего секретаря? Я тебя спрашиваю! То Медведь со своими... руки суют не куда надо, то ты теперь. Я что здесь – уже не хозяин?

- Сергей Мироныч, - Чудов сложил крестом руки на груди. - Вы же понимаете, что я такое решение принять не мог, тщательно все не взвесив. И это решение принципиально поддержано...

- Кем? – рявкнул Киров.

Чудов многозначительно молча показал указательным пальцем вверх.

Киров осел в кресле. Его боевой запал пропал. Бесцельно комкая лист бумаги, он теперь до конца понял всю суть разговора с Кобой, как и то, что этот разговор начался еще до Сочи, и что этот разговор на данную тему – последний.

Властно, не считаясь с его мнением, чувствами, желаниями ему указаны соответствующие нормы поведения так же, как он столь же властно и небсчитаясь ни с чем, последние годы эти нормы нарушал. За все в этой жизни надо давать долги. И даже самый великий и значимый человек не свободен от законов общества, в котором живет. И если он попирает эти законы, пользуясь своим величием, расплата все равно наступает. И он обязан смириться с обстоятельствами, которые выше его, так же как и грешная его страсть тоже выше его.

Над его любовью проведена черная жирная и не признающая возражений черта...

Его остановили на скаку.

С ней поступили куда хуже.

Это был конец...

Поздним осенним вечером он сидел за кухонным столом и курил в открытую форточку. Нудный дождь пел нудные песни. Ни о чем не хотелось думать. Опустошение, охватившее его с момента возвращения из Сочи, не проходило, и с каждым днем все больше овладевало им.

С Мильдой он больше не виделся и не искал к тому никаких попыток. Зачем? Это было и глупо, и небезопасно. Прекрасно зная систему, в которой он обитал, которую сам же и создавал, Киров отдавал себе отчет, что и за ним, и, тем более, за Мильдой может быть установлена слежка, которую даже он не в силах был отменить. И первое же свидание с Мильдой станет известно его лучшему другу, другу всех советских людей, и вызовет гнев. Как это скажется на Мильде, на сыне? Он не мог допустить, чтобы из-за него у нее начались неприятности.

Пусть живет теперь как знает. Он помнит о ней, и этого достаточно. Но все-таки очень все это гнусно...

Он вздрогнул.

Мария Львовна неслышно (или он так крепко задумался?) подошла сзади и стала гладить ему волосы.

- Я замечаю, - ты вернулся посвежевшим, но не отдохнувшим, Сережа – сказала она.

- Устал я, Маша. Очень устал, - искренне ответил он.

- Мы все устали. И от работы, и от лжи. – грустно проронила она.

- О чем ты?

- Ты знаешь, Сережа. Знаешь, что я люблю тебя, и знаешь, что я знаю о другой женщине, которую ты по-прежнему скрываешь от меня, - вздохнула она..

Он не ответил, закурил новую папиросу, сильно затянулся, и, выдохнув дымом в форточку, сокрушенно покачал головой:

- Нет... другой женщины.

Мария Львовна все так же гладила ему волосы, и тихо возразила:

- Не ври, Сережа.

- Я не вру, Маша, - утомленно ответил он и закрыл глаза..

- Ты всегда любил, когда я тебе гладила волосы.

- Я и сейчас люблю.

Она замолчала. За окном дождь стал сильнее, капли забарабанили по стеклам надрывно, с неким жалким хлюпаньем.

- Ты переживаешь, что... нет больше другой женщины? – ее пальцы замерли на его голове.

Он не хотел лукавить. Но и не хотел огорчать жену. Она умная женщина и о многом догадывается, разве что (молодчина) виду не подает. И она его не предаст.

- Я не знаю, - он глядел в окно, как капли рисовали, скатываясь вниз, узоры, так похожие на решетки. - Просто на меня все свалилось. Вот опять посылают на сбор урожая в Казахстан. Ну что там своих начальников нет? Ну, какого черта мне там делать? Зачем я нужен в этом Казахстане...И, знаешь, что-то стало ныть в груди.

- Сердце? – встревожилась Мария Львовна.

- Нет, там все в порядке, успокоил он ее. - Другое. Какая-то жаба давит и тащит, тащит за собой. Туда, во мрак.

- Ты поругался с Иосифом?

- Ну что ты? На юге он от меня почти не отходил. Очень добрая душа. Хорошо, когда есть такой друг.

- Ну, тогда и выбрось из головы свои предчувствия.

- Да выбросил, с каким-то неискренним воодушевлением произнес он и выбросил окурок в форточку.

Киров вскочил, повернулся, и прижал к себе подавшуюся к нему Марию Львовну.

- Задавишь, медведь! – с упреком, в котором слышалось довольство, заметила она, и прижалась к нему крепче.

- И задавлю, - проговорил он. - И никуда тебя не отпущу. Никуда ты не денешься. Поняла, Маша...

В приливе странного веселья они закружились по комнатам.

Наконец, видя, что Мария Львовна устала, он осторожно опустил ее на диван, а сам снова пошел на кухню, схватил очередную папиросу, чиркнул спичками и отошел к окну.

Если бы окно было зеркалом, он бы увидел, но вряд ли удивился тому, как только что из живого оно превращается постепенно в серьезное, скучное и унылое.

Тот же дождь стучал и в окна квартиры Николаевых.

И они также сидели на кухне и молчали. Последние месяцы Мильда потеряла интерес ко всему – и к работе, и к семье. Отрешенная от всего, она как автомат делала все, что от нее требовали, и ни более. Ни каких-то порывов, желаний, стремлений не было. Все оборвалось и рухнуло в бездонную пропасть в тот день, когда Чудов сказал о ее переводе. И ни стона, ни крика, ни обиды – ничего внутри не было. Она даже не стала размышлять – Киров ли так распорядился и, сам уехав в отпуск, решил свалить на Чудова миссию их разрыва, или же что-то иное, - это было неважно. Ей жестко и жестоко повелели прекратить докучать товарищу Кирову, и все...

В газетах она читала, что Киров уже вернулся в Ленинград. Но ни весточки, ни звонка от него она не дождалась. Так тому и быть. Кто она ему? И впереди один сплошной нескончаемый дождь в уставшей от былых потрясений душей и уже не могущей воспринять новые. Она выдохлась окончательно. Она была пуста.

- Почему ты не ложишься спать. Мильдочка? – спросил Леонид.

- Не знаю, - отозвалась она. - Не хочется.

- Ты... ты скучаешь? – он побледнел.

- По ком? – устало спросила она.

- Ну... по своей бывшей работе? – напрягся он, впрочем, она не замечала его состояния.

Мильда отмахнулась:

- Некогда мне скучать. Иди, ложись, Леня. Я скоро приду.

- Без тебя не лягу, - капризно надулся он..

- Я... приду.

- Ты... ты больше не любишь меня? – с замиранием сердца спросил он, чувствуя как готово прорвать грудную клетку разбушевавшееся сердце.

- Ну что за вопрос, Ленечка? – Мильда тоскливо посмотрела на него. - Зачем ты меня мучаешь каждый день?

Николаева охватили одновременно и какая-то безудержная радость, и озлобленность.

- Он бросил тебя. Он забыл тебя, - завопил он. - Поманил, попользовался и... бросил. Я же все вижу...

- Значит, так надо, - она закрыла лицо руками. - Оставим это. Прошу тебя...

Леонид отшвырнул ногой стул и жалким подобием коршуна запорхал по кухне, размахивая руками:

- Нет, я так это не оставлю. Я – мужчина, и я отстою свою честь... и твою...

Мильда вздохнула и встала:

- Брось... я сыта этими твоими глупыми угрозами. Ты же видишь, я – дома, никуда не уйду. Я – с тобой. И буду с тобой.

Николаев остановился и восторженно воскликнул:

- Правда?

- Правда, Ленечка. Все у нас будет замечательно. Только подожди немного, - она умоляюще протянула к нему руки.

- Я не могу выносить твоих слез.

- Я не плачу, смотри, нет слез, - она показала ему свое сухое бескровное и постаревшее лицо.

- Мне больно за тебя. Мне так жалко тебя, что не знаю, загрыз бы зубами подлюку...

Она взяла его за руку и повела за собой:

- Пойдем спать, Леня. Успокойся. Хочешь, я тебя поцелую...

Леонид подбежал к ней и с жаром обнял и часто задышал. Как прощенный ребенок. Драуле молча гладила его голову.

Здание на Литейном, как и было обещано, осенью 1934-го года было построено и уже обживалось сотрудниками ведомства Медведя.

Сумрачным вечером в еще сыроватом и пахнувшем свежей штукатуркой кабинете сидел такой же сумрачный Медведь. Его совсем не радовали происходящие события вокруг Кирова.

Сейчас он слушал своего сотрудника и недоумевал:

- Что за странное распоряжение? Почему кабинет Кирова переводят дальше за угол.

Сотрудник разводил руками:

- Не могу знать. Мне позвонила охрана Смольного и сказала, что это – приказ Москвы.

Медведь расстелил на столе чертеж Смольного:

- Да посмотри ты, вот тут его кабинет был. Все открыто, просматривается, под нашим контролем. А теперь вот так. Он будет вне нашего зрения. Что за ерунда!

Сотрудник молчал. Медведь махнул ему рукой:

- Ладно, я сейчас выясню. Можешь идти.

Как только тот вышел, он быстро набрал номер телефона. Через несколько секунд услышал доклад дежурного НКВД в Москве. Медведь подобрался:

- Товарища Ягоду. Начальник Ленинградского ОГПУ Медведь. Хорошо. Жду.

Он смотрел на чертеж и все еще ничего не понимал. В трубке раздался голос Ягоды.

- Ягода у аппарата.

- Товарищ Ягода? Медведь. Хочу доложить о решении перевести кабинет Кирова... Что?

- Это мое распоряжение, - невозмутимо ответил нарком.

- Это ваше распоряжение? Но ведь разумнее...

- Это не вам решать...

- Что? А кто распорядился? Что?

- Сам... Понял? Хозяину видней. И не вздумай там мне по-своему...

- Есть, товарищ Ягода. Все понял. До свидания, - Медведь обескуражено положил трубку и сердито пожал плечами. - Чушь собачья. Что за хреновина...

Впрочем, с Кировым этот вопрос Медведь обсуждать не смог – тот был в непонятных длительных командировках – в Казахстане, в Азии, на Урале... А когда все же вернулся, то махнул рукой – сойдет и угловой кабинет, словно ему было все равно, или уже все равно.

Сам же Ягода тотчас после разговора с Медведем перезвонил Николаю Ивановичу Ежову.

- Мне только что звонил Медведь, товарищ Ежов. Настырничал, петушился, кто это, мол, приказал перевести кабинет товарища Кирова в Смольном...

- И что ты ему ответил? – спросил Ежов.

- Я ему, чтобы он не брыкался и не самовольничал мало чего, сказал, что это распоряжение товарища Сталина... - самодовольно сказал Ягода.

Ежова даже испарина пробила. Он схватился с кресла и завизжал:

- Что? Да ты что, в мать твою, пьян, что ли? Кто тебе дал право упоминать имя товарища Сталина? Ты что не мог сказать – что это твой приказ?

- Я думал... - струхнул Ягода.

- Мне наплевать что ты думал, мудака! Не смей больше ссылаться на имя товарища Сталина без моего указания.

Ежов в бешенстве бросил трубку.

Ягода застыл в ужасе. Он что-то не совсем понимал. Что-то назревало, и это что-то уже задевало его полностью. А он оставался в полном неведении. А это могло значит, что на него повесят всех собак.

Дрожащей рукой он открыл ящик и налил себе стакан коньяка. Бутылка застучала о стакан. Выпив залпом стакан, он почувствовал себя увереннее и спокойнее.

Ягода обернулся и с благоговейным трепетом уставился на висящий на стене портрет Сталина.

Николаев переживал смуту в своей душе. Весть об измене жены с Кировым перетрясла его существо до основания. Прямое подтверждение товарищем Андреем этого прискорбного факта, поначалу как-то отошло на второй план при той экзальтации, которое охватило Леонида от знакомства с таким человеком. Но когда эйфория улеглась, тяжесть сознания неверности Мильды давила все сильнее. Импульсивная натура – Николаев жил от импульса к импульсу, в зависимости от того, кто и что давало ему новый импульс, определялся вектор его поведения.

Толчок, данный товарищем Андреем, поверг его не только в смятение, но и в отчаяние и озлобление. Примирение с Мильдой, когда он уяснил, что она никуда от него не собирается уходить, дало ему новый толчок к успокоению. Теперь он ее боготворил и почитал. Однако он видел ее состояние, и одновременно с успокоением насчет Мильды возрастала чувство негодования к тому, кто посмел ее привести к такому финалу, и в ус не дует. Да как он посмел надругаться над женщиной, которая обратилась за помощью в отношении своего мужа, и за эту помощь он обошелся с ней вот так гадко. Николаев был уверен, что Мильда пошла на жертву, как женщина, только из-за того, чтобы посодействовать мужу в трудоустройстве и восстановлении в партии. Он оценил жертвенность Мильды, но возненавидел того, кто воспользовался этим обстоятельством по праву сильного.

Он не верил в то, что его жена – любовница кого-то там. Она не могла так поступить, потому что Николаев ценил себя и не представлял, чтобы жена отдала добровольно предпочтение кому-либо еще. Нет! Только по принуждению! Тот всемогущий человек, конечно же, преследовал ее, домогался, ведь она его секретарь, и должна обслуживать не только его дела, но и прихоти. Только поэтому его жена сейчас разнесчастлива, и на нее больно смотреть...

Слова товарища Андрея о подвиге глубоко запали в смятенную душу Леонида и ворочались там, ожидая в нетерпении своего часа. Последний разговор с женой точно озарил Николаева – вот он этот час. И да поможет ему в восстановлении справедливости любовь Мильды. Это был еще один импульс, и – роковой.

Площадь перед Смольным в непохожий промозглый ноябрьский день, катившийся к вечеру, выглядела сумеречной и зловещей. Редкие прохожие торопились побыстрее проскочить под защиту помпезных зданий.

Только один прохожий, кажется, никуда не торопился. В застегнутом наглухо пальто, одна рука за пазухой, - он выглядел случайно забредшим в неизвестное место зевакой.

Он подошел к дверям Смольного. Открыл их. Остановился и задумался. Затем почему-то захлопнул и снова направился к площади. Ему, очевидно, было холодно. Человек дрожал и пританцовывал на мерзлой земле. Вот он опять остановился, что-то пробормотал себе под нос, опять развернулся и направился к Смольному. И опять открыл двери.

Охранник Смольного пристально и с удивлением разглядывал странного товарища, но тому почему-то померещилось, что охранник очень уж пристально и злобно пялится на него.

Человек, путаясь в полах пальто, встретившись взглядом с глазами охранника, почему-то вскрикнул, и бросился назад.

Охранник тоже прокричал что-то своим помощникам.

Странного человека догнали сразу же - почти рядом с дверью. Ему тут же скрутили руки и провели в служебную комнату охраны.

При обыске из под полы его пальто на пол с гулким стуком упал пистолет...

Через несколько минут в дежурную часть Ленинградского ОГПУ на Литейном раздался звонок.

- Дежурный Ленинградского ОГПУ слушает...

- Это начальник смены охраны Смольного. Срочно переключите на Медведя...

- Начальник ОГПУ на выезде. На месте его заместитель, - доложил дежурный.

- Переключайте на него...

Запорожец выстраивал геометрические фигуры из спичек. Затем встал, размял спину. Буркнул:

- Черт, побаливает. Киров совсем загонял Медведя. Торчи тут за него, даже в госпитале не дадут полежать. Проклятая работа.

В это время раздался звонок.

Запорожец недовольно посмотрел на телефон и взял трубку.

- Слушаю.

- Дежурный по ОГПУ, товарищ Запорожец, - раздалось в трубке. - Охрана Смольного, срочно просят связи с вами. Переключаю.

- Слушаю, Запорожец, - мрачно ответил тот.

По мере того как он слушает, его лицо стало вытягиваться, Кулаком он шандарахнул по столу.

- Выезжаю немедленно. Ничего не предпринимать до моего приезда. Никому ничего не говорить. Это приказ.

Вряд ли кто в туманном мареве вечера увидел такую сцену подле Смольного. Рослый мужчина за шкурку выводил какого-то тщедушного то ли мальчишку, то ли юнца. Тот скулил, подрыгивал ногами, но не сопротивлялся.

Мужчина оттащил его к стоящей поодаль машине. Открыл одной рукой дверцу и зашвырнул мешковатую особь внутрь.

И с силой захлопывает дверцу.

Затем обошел машину и уселся с другой стороны...

Запорожец тяжело дышал, понемногу успокаиваясь. Это же как хорошо, что он оказался на связи, а не Медведь! Да если бы тот получил информацию о случившемся, то... Он даже не хотел думать, чтобы было. Медведь бы вытащил из этого хлюпика все, вплоть до информации о каком-то товарище Андрее, да описал бы его... Запорожец даже похолодел от такой мысли. Это

был бы не просто провал, а самый что ни на есть конец. Физический! Мгновенно бы Киров поднял такую бучу, что – мама не горюй! Ягода и Ежов открестились бы от него тотчас, и - ... Он представил свое тело, спихиваемое в болотную жижу и ироничный голос над ним Медведя: Погибай за Советскую власть, так надо... Ох, с каким же торжеством он бы пинал бы его труп в болото... Запорожца снова передернуло.

Медленно повернувшись к поникшему скрюченному Николаеву, Запорожец презрительно на него посмотрел и наотмашь ударил по лицу. Один, другой, третий раз...

- Гнида!

Николаев завизжал, размазывая хлынувшую из носа кровь и соплю..

- Ты, сука, что удумал. – зашипел Запорожец. - Герой хреновый! Под вышку захотел, а?

Николаев, всхлипывая. Порывался объяснить, но выходило плохо:

- Не знаю, на меня что-то нашло. Мы... я понял... что я должен... вот... а они... пистолет выпал...

Запорожец от всей души залепил новую оплеуху так, что затрясся салон машины:

- Урод! Щас у тебя яйца выпадут! Почему посмел? Кто приказал? Я тебе велел меня слушаться?

- Я больше не буду... - проскулил Николаев.

- Да и не надо. Я тебя сейчас отвезу подальше и сам шлепну, как врага, как червя раздавлю... - загремел Запорожец. - Понял?

Николаев был белее снега.

- Не надо, товарищ Андрей! – рыдал он. - Я... я... не... хотел... само получилось...

Запорожец не сдержался. Потаенное вырвалось наружу:

- Да ты полный дурень! А если бы не я! Если бы другому позвонили и доложили! Да тебя бы сейчас по косточкам раскатывали, пенек! И ни одна душа тебя не спасла бы...

- Спасите меня, товарищ Андрей, я в самом деле больше не буду, - причитал Николаев. - Без вас – ни шагу. Никуда. Даже в туалет. Только спасите. Вы обещали, вы хотели меня защищать...

- Такую погань я защищать не хочу, - оскалился Запорожец. - Ты не оправдал моей к тебе веры.

Николаев взвыл истошно:

- Я отслужу. Я буду каждое ваше слово как приказ... я все исполню... не надо, не убивайте меня, товарищ Андрей.

Запорожец нажал на газ, машина рванула.

- Заткнись, сука. И слушай. Вот этими своими ослиными ушами слушай, или в другой раз я их оторву. Я прощаю тебя первый и последний раз. Отныне ты должен беспрекословно выполнять все мои приказы. И запомни – я отдаю приказы только от имени Советской власти. Неподчинение такому приказу – неподчинение Советской власти. Понятно пока?

- Да, товарищ Андрей, - затравленно пискнул Николаев.

Запорожец теперь говорил спокойно и веско:

- Я понимаю твоё рвение. Даже больше. Понимаю, как человек, как мужик мужика. Но что же ты, гад, прешь по целине? В герои захотел? Да ты даже в мученики-угодники не попадешь без моего согласия. Вот, держи, - и совсем неожиданно он протянул Николаеву пистолет.

Тот изумился:

- Вы отдаете его мне?

- Отдаю, потому что доверяю, - кивнул Запорожец. -. Понял? И посмей только еще раз пренебречь моим доверием.

Николаев тут же преисполнился торжественности:

- Никогда, товарищ Андрей.

- О том, что здесь было – ни-ко-му. Ни жене, ни детям, ни дворовому псу, - инструктировал его дальше товарищ Андрей.

- А как же охрана? – осмелился спросить Николаев.

- Она будет молчать, - процедил Запорожец..

Николаев восхитился:

- Вы такой большой командир, товарищ Андрей?

- А ты, дурак, никак не можешь догадаться, - хмыкнул товарищ Андрей.
- Понял, наконец, что я с тобой не в бирюльки играю.

- Приказывайте, товарищ Андрей. Вы на меня можете положиться как на себя. Я оправдаю, я... - у Николаева больше не хватало ни духу, ни слов, чтобы продемонстрировать свою собачью (он считал – партийную) преданность этому человеку.

Запорожец остановился и открыл дверцу машины:

- Я тебе оставляю только один шанс доказать что ты стоящий мужик. Только один. Кстати: если бы у тебя был ум, то мстить надо, когда застанешь на месте преступления. Обоих. Тогда к тебе никаких претензий, даже поймут и поддержат. Понятно? И еще раз кстати: твой обидчик не ходит теперь через центральный вход. У него есть сбоку справа от здания неприметная дверь служебного входа. Ее можно заметить, если постараться, она одна, за вязанками дров. Так-то, товарищ Николаев. Не там ты был и не в то время. Пропал бы ни за грош... Все. Пошел вон.

Однако происшествие не осталось незамеченным. В Кремле в кабинете Сталина Ежов докладывал ему о случившемся той же ночью.

- Вчера был отмечен случай, товарищ Сталин. Николаев, муж любовницы Кирова, был задержан охраной Смольного при попытке проникнуть туда с оружием.

- Вот как? Взыграл, значит, ваш Раскольников? – неопределенно высказался Сталин, не обнаруживая ни гнева, ни радости.

- Так точно, товарищ Сталин.

- И что же? – Сталин смотрел в сторону, и Ежов никак не мог выяснить для себя его реакцию.

- Мой человек забрал его. – ответил он. - Об этом случае никто не знает. Ни одна душа.

- Ваш человек много себе позволяет. – недовольно, теперь явно недовольно сказал Сталин. - А чем занимается Ягода? Вы уверены, что он делает все, что нужно делать для безопасности товарища Кирова?

- Не уверен, товарищ Сталин, - прямо признался Ежов.

- Хорошо, что вы честно признаетесь... - Сталин промолчал. - Учтите – за безопасность товарища Кирова персональную ответственность несут ленинградские товарищи...

- Я понял, товарищ Сталин, - Ежов на самом деле все понял.

Сталин иронично смерил его непонятым желтым взглядом:

- Неужели? О своей ответственности тоже забывать не стоит. Идите, товарищ Ежов...

Ежов вышел от Сталина в противоречии мыслей. Во-первых, Сталин как-то индифферентно отнесся к самому факту неосуществившегося возможного покушения, более того – он вообще не проявил какого-либо интереса к этому Николаеву, что уже наводило на определенные раздумья. Во-вторых, Сталин прозрачно намекнул об ответственности в первую очередь ленинградских властей, если что... Правда, включая сюда косвенно и Ягodu. Но об Ягоде Николай Иванович беспокоился меньше всего. Что же касается упомянутой Сталиным его собственной ответственности, то... Это означало одно – Сталин самоустраняется и развязывает ему руки. И если он этого не поймет и оплошает, тогда и наступит его персональная ответственность.

Отсюда, первое, что надо делать – вывести своих людей, а, значит, и себя самого от возможного удара как при успехе задуманного, так и при неудаче.

И Ежов срочно позвонил Запорожцу.

Тот, после едва ли не провального «мероприятия» Николаева не находил себе места. Запорожец понял, что Николаев зашел слишком далеко, и что он почти неуправляем. Еще какой-либо повод со стороны его любимой супруги, и он способен натворить что угодно, заодно подставить и его, Запорожца. Поэтому никаких иллюзий насчет Николаева Запорожец не питал. Ему уже была в тягость возложенная на него миссия. Он осознавал, что обречен стать крайним. Что такое быть крайним, - на этот счет, зная свою систему, Запорожец тоже никаких иллюзий не питал. И звонок Ежова несказанно обрадовал его.

Выслушав Ежова, о том, что пора бы ему, Запорожцу, как-то посетить ближайшими днями столицу, оформить, может быть, отпуск, давно не бывал, и стараясь подавить вспышку ликования, он деловито сказал:

- Спасибо за чуткость. Я еще многое здесь должен сделать, но, признаюсь, спина побаливает, радикулит...

- Тогда не медли, приезжай, Ягода тебе выпишет направление в санаторий, - пообещал Ежов.

На том и порешили. Запорожец доложил Медведю о вызове в Москву на предмет его длительного отпуска по болезни, и ни о чем не догадывавшийся Медведь с удовольствием отпустил своего заместителя на лечение.

Сам же Киров был далек от той возни, которая разыгрывалась вокруг него. Помотавшись почти всю осень по дальним и ближним окрестностям, напоследок побывав в Москве на Пленуме ЦК ВКП (б), он смертельно устал. Казалось, он лишился какой-то опоры – моральной и физической, и просто еще по инерции скользит в заданном направлении.

Сотрудники Смольного отметили, что он перестал улыбаться.

С Мильдой Драуле он не виделся уже несколько месяцев, с момента своего отбытия в Сочи. И не интересовался о ней. А в душу к нему никто не заглядывал...

С пленума он поехал домой. Он явно смирился с обстоятельствами. Даже пытался ухаживать за женой. И у Марии Львовны, наконец, за последние годы, было по-настоящему хорошее настроение.

- А ну-ка, долой домработниц! – командовал Киров. - Этак мы с тобой вконец буржуями станем, Маша. Сегодня я тряхну стариной.

Мария Львовна смеялась:

- Это что-то новое, Сережа.

- Напротив, Маша. – возражал он. -. Забытое старое. Сегодня я сам буду готовить ужин.

- И что же ты приготовишь? – игриво спрашивала она.

Он делал озабоченное лицо:

- Ну, во всяком случае картошка в мундирах будет у меня самой аппетитной.

- Готовь, мой любимый, радостно шептала она.

Казалось, что все плохое уже позади, и их судьбы снова соприкоснулись, чтобы идти теперь вместе до отведенного судьбой последнего дня.

- А завтра первый день зимы, первое декабря, - сообщила Мария Львовна мужу, отрывая листок настенного календаря.

- Люблю зиму, - крикнул он, перебирая картошку. – Зимой мне особенно везет...

Старожилы в деревеньках западной окраины Ленинградской области уверяли, что в ночь на 1 декабря был какой-то особенный, неизвестный в тех краях багровый закат. Может и был, но в любом случае из окон квартиры Кирова его видно не было...

Первый зимний день выдался вьюжным. Над городом нависли тяжелые свинцовые тучи. Дул сильный пронизывающий ветер. Ветер прижимал к земле дымы котельных и заводских труб.

Смольный заметало снегом.

Киров в расстегнутом меховом полушубке, разгоряченный с мороза, торопясь, прохаживался по новому кабинету, который он толком еще и не успел обжить, хотя обстановка кабинета была сохранена, а то, что его передвинули в угол здания, об этом он по серьезному не задумывался, полагая, что ведомству Медведя виднее.

Киров втолковывал Чудову, потрясая папкой с бумагами:

- Так, это я скажу на открытии актива. Вот это – по добровольному увеличению плановых заданий на следующий год – особенно на металлзаводах – в первую очередь заострим. Пусть партийные организации поднажмут. Надо!

- Так, хорошо. Дальше – вот этот пункт повестки, - он отчеркнул карандашом нужное место.

Киров мельком взглянул на текст:

- Да, обязательно. Надо усиливать дисциплину в коллективах. Еще есть случаи отлынивания, лени, брака. Негоже нам закрывать на это глаза. Свою ведь страну строим. Это я буду говорить. Отметь мне.

- Хорошо. – записывал Чудов. - Наконец, по кадровым вопросам.

- Давай это после перерыва, - недовольно поморщился первый секретарь обкома. - Сам выступишь.

- Хорошо, - согласился его заместитель. - А по агитации, обеспечению агитаторов – Жданова?

- Его, - кивнул Киров. - Пусть попотеет. Так. Все?

- Вроде бы все. – пожал плечами Чудов

- Как там в Таврическом, не замерзнем?

- Я справлялся. Нормально. Но к активу обещали поднатопить. Не волнуйся, Сергей Мироныч.

Киров ткнул Чудова кулаком в плечо:

- Ну, ладно. Я поехал на завод, заеду в райком. Пообедаю, дома. А оттуда в Таврический. Так что ты меня тут сегодня не жди. Увидимся там. Ну, бывай!

Чудов пожал руку Кирова, и тот стремительной уверенной походкой вышел из кабинета.

Драуле в первый день зимы была дома. Ей нездоровилось, хотя температуры не было, но какая-то слабость пригибала ее к земле. С работы после обеда она отпросилась и думала полежать на диванчике в одиночестве. Какие-то неясные предчувствия будоражили ей голову, и от этого страшно разболелась голова. Однако раньше времени принесло и муженька, который сегодня тоже отчего-то был не в духе.

Ни с того, ни с сего вспыхнул скандал.

- Что ты нос воротишь? Ты совсем забыла – что ты мне жена. Что ты должна меня любить! – ерепенился Николаев, еще больше возбуждаясь от страдающего от боли и его крика лица жены.

- Должна? – она прижала ладонь ко лбу.

- Да! Да! Да! – Леонид стал ходить любимыми кругами по комнате. - А ты как та змеюка. Все изворотливо. То детишкам уход, мол, нужен, то мамаше бедной утку поменять. Все ты занята для меня. А как только я к тебе – у тебя опять за кем-то ухаживать.

В висках ее надсадно застучало. Она скривилась:

- Да сколько же можно, Леня! Ты меня совсем извел своей глупой ревностью. Теперь ты меня к детям ревнуешь?

Он пропустил мимо ушей ее замечание, которое, на его взгляд, не имело никакого отношения к важной теме, которую он поднимал ежедневно, требуя от жены признаний и, желательно, со слезами, после чего в его душе наступало некое успокоение. Он вообще хотел, чтобы она ползала перед ним на коленях, а он, подобно, царю на троне, раздумывал – казнить или щадить. Но она не понимала, чего он от нее хочет. И это приводило его в ярость. Подумаешь! На коленях. А ты догадайся и стань на колени, стань, стань, стань... Но Мильда оказалась слишком тупой и непонятливой.

- Я люблю тебя, а ты меня не замечаешь. – упрекал он ее.

И тут она словно бы услышала его внутренние помыслы. Она раскрыла широко глаза и спросила:

- Да что мне перед тобой на колени каждый раз становиться, пятки тебе лизать, чтобы ты успокоился?

- А хоть бы и так, - с замиранием сердца произнес он..

Она же вместо того, чтобы так и сделать, взяла, дура, да сплюнула на пол:

- Да ты совсем с ума выжил, погляжу. – рассердилась она. - Мне это уже надоело свыше горла.

- А мне? Снег на улице и то теплее, чем ты, = завопил он. - Признайся, что сохнешь по нему? Да? Встречаетесь тайком от меня? – он стал ее изводить самой больной для нее темой.

Мильда всплеснула руками:

- Господи! Да ни с кем я не встречаюсь.

- А мне другое говорят, - выпалил он.

- Кто! – прошептала она, отшатнувшись назад. По его виду она поняла, что он не выдумал, как обычно.

Николаев спохватился, что ляпнул не то, сам испугался тут же и пробормотал:

- Есть товарищи. Они все знают и обо всех. Их не проведешь, даже такая как ты.

- Ну, заладил. И когда же это все кончится! – ей хотелось оглохнуть, ослепнуть, чтобы не видеть и не слышать ополоумевшего мужа.

- Кончится, пообещал он. - Ты еще узнаешь на что способен твой муж. Ты меня букашкой считаешь. Погоди. Погоди. Мне в героях тоже, может быть, скоро ходить...

Она не приняла его слов всерьез:

- Старая песня... Герой. Пуп с дырой. Погляди на себя, ты только мне нервы трепать герой... Ты уже был гением, пока с института не турнули... Помнишь, ныл тут.

Леонид даже подпрыгнул от негодования. Она умело и сильно уколола его в больное место:

- Замолчи! Я не хочу вспоминать, что обязан этому... этому... - он не находил дальше слов от душившей его ненависти.

- Да, обязан! – она словно бы насмеялась над ним.

- Прекрати, иначе я за себя не отвечаю, - поднял вверх сжатые кулаки и потряс ими.

Но она не испугалась. Очевидно, он был слишком смешон в такой позе. Ее лицо скривила гримаса:

- Да хватит истерик. Я ими тоже сыта – по горло. Вот так. Только и способен, рыдать как баба. Надоело! Видеть больше не хочу.

Он подскочил к ней и рванул за юбку:

- Да? Не хочешь? А вот он я. Вот он! – он стал кривляться перед ней, строить рожицы.

- И, думаешь, впечатляет? Дракон? – она покачала головой. - Да ты – козявка... обыкновенная, которая тщится стать слоном. По себе шапку мерь...

- Кто я – козявка? – взвыл оскорбленный Леонид.

- Господи! Господи! Все, больше не могу. Все, Леня. Я решила, - она отвернулась к стене, чтобы не видеть его. - Я разведусь с тобой. Я не могу больше так жить. Я не хочу больше так жить... Прости меня...

Николаев отскочил, его качнуло, он ухватился руками за стол и всхлипнул.

Зазвонил телефон. Мильда, радуясь этой отдушине от утомившей ее ссоры, подошла к висящему в коридоре телефону.

- Слушаю вас.

Незнакомый ей голос поинтересовался:

- Это Мильда Драуле?

- Да, - устало сказала она.

- С вами говорят от Сергея Мироновича Кирова. Он просил вас приехать в Смольный.

Мильду будто бы ошпарили кипятком.

- Когда? – растерянно спросила она.

- Он хочет видеть вас у себя немедленно. Что мне передать Сергею Мироновичу? – участливо спрашивал незнакомец.

- Да, конечно. Я приеду. Немедленно... - крикнула она и бросила трубку.

Больше она не замечала ничего. Не замечала злобного взгляда мужа, притаившегося у стола и затравленно наблюдавшего за ней. Несколько отстраненно и торопливо она стала одеваться. На платье сразу набросила, не разбирая, что надевает, пальто.

Он зовет! Он не забыл ее. Он ждет ее. Одно его слово, его желание – Боже, как же она могла жить без этого. Как будто рухнула плотина, и ревущий поток ее чувств устремился вперед бесстрашно, неотвратимо и безоглядно. Все остальное не существовало.

- Ты – куда? – откуда-то из прежней жизни донесся голос ее мужа. Она даже сразу не вспомнила, кому принадлежит этот голос.

- Тебе какое дело? – беззаботно ответила она, порхая суетливо по квартире.

- Какое? Ты – моя жена! – напомнил он.

И – услышал:

- Леня, я тебе сказала, что я хочу развестись с тобой. Я не шутила, Леня. Прощай...

Она быстро вышла, даже выбежала из квартиры, хлопнув дверь. Слышался быстрый перестук ее ботинок.

Этот перестук вывел его из прострации. Фонтаном в мозг ударили ее чуть ни не с весельем сказанные слова – я разведусь с тобой.

Он вскочил и забегал.

- Ненавижу! Ненавижу! Он отнял мое право быть гениальным. Он отнял у меня любимую женщину! Он превратил меня в козявку. Я не хочу жить... Я не хочу, чтобы она жила. Я не хочу, чтобы он жил...

Силы оставили его. Николаев, наконец, рухнул на стул, обхватив голову руками.

Сознание его стало раздваиваться. Он увидел трубку телефона, висевшую на проводе - Мильда второпях не положила ее правильно на рычаги.

Николаев настолько заморожено смотрел на телефон, что тот должен был либо сгореть от его взгляда, либо зазвонить.

Ему казалось, что телефон зазвонил.

Он боязливо и неотвратно подошел к нему, медленно взял трубку. В горячем полубредовом состоянии Николаева возник диалог, и был ли он только в его сознании, или же на самом деле состоялся, он был не в состоянии дать точный ответ. В любом случае этот вырвавшийся из недр его помутневшего рассудка или реальный разговор, дал ему последний импульс в этой жинзи:

- Да...

- Товарищ Николаев, ваша жена в Смольном. У него. – вещал некий голос, так схожий с голосом товарища Андрея.

- Что?

- И вы это знаете. Почему вы медлите?

- Но меня не пропустят... у меня нет пропуска...

Голос как бы трансформировался в видимый призрак товарища Андрея, качавшего головой:

- А служебный боковой вход в Смольный... я ли тебе не говорил о нем. Глядь и застанешь на месте преступления. Обоих...

- Мне... идти?

Образ товарища Андрея померк. Казалось, с ним теперь говорил не один голос, а вся квартира – стены, потолок, полы:

- Если ты тряпка – сиди дома и дрожи. Всю свою трусливую жизнь дрожи. Если ты способен на подвиг – иди. Сегодня или никогда. Советская власть ждет от тебя поступка... Или не доживешь до завтра... Ты понял, Николаев?

Трубка выпала из его руки.

Леонид достал с полки чулана пистолет и бессмысленно воззрился на него.

У входа в Смольный Драуле передохнула на минутку. Торопливо поправила головной убор, споткнулась на левую ногу.

Ей вдруг стало страшно. Но она решительно отмахнулась. Он ведь ждет. Боже, сколько же они не виделись! Целую вечность...

- Здравствуйте, - робко улыбнулась она охраннику, которого видела мельком, когда работала секретарем. - Меня вызвали. Мне – пройти.

- Минутку, барышня, - остановил он ее жестом и строго спросил: - Пропуск есть?

Она спохватилась. Да нет же у нее никакого пропуска. Неужели – это препятствие?

- Сейчас... нет. Но вы же помните – я тут работала. – напомнила она охраннику.

- Не положено.

Она сердито топнула ногой. Этот хрыч вывел ее из себя. как он может, когда, когда...

- Меня вызвали к Сергею Миронычу, - и тут она вспомнила хорошего дядьку, кажется, главного тут среди этих вот. - Позовите Борисова. Он должен быть в курсе.

- Минуточку. – охранник при фамилии Борисов стал более притким..

Он подошел к дежурному телефону и позвонил.

- Товарищ Борисов. Тут к Сергею Миронычу его бывшая секретарша. Без пропуска. Просит вас. Ага, ладно. – он положил трубку и сообщил Драуле. - Минуточку. Он сейчас спустится.

Вскоре торопливо спустился сотрудник ОГПУ Борисов. Его лицо выглядело смущенным. Он жестом отозвал Мильду в сторонку, чтобы не мешать проходящим

- Мильда? – он не скрывал своего смущения. - Что вам здесь нужно?

- Мне позвонили, - пояснила Мильда. -. Меня просил приехать Сергей Мироныч. Срочно.

- Тут какая-то ошибка. – недоумевал Борисов. - Сергея Мироныча нет в Смольном. И, полагаю, не будет.

- Вы врете, - выдохнула Мильда.

- Ну зачем вы так, - он покраснел. -. Вы меня знаете, разве я когда врал вам?

- Нет, нет! – не верила она. - Он - здесь. Я ему нужна, а вы меня не пускаете. Вы – специально так. Вас научили.

Борисов видел ее состояние, но ничем помочь не мог:

- Но Сергея Мироныча в самом деле нет! Ерунда какая-то. Я не могу пропустить вас без его личного указания. При всем уважении.

Она заломила руки. Все рушилось так же стремительно, как и было возведено:

- О, Боже! Да что же это такое. Что я вам сделала? – прошептала она.

Борисов постарался ее успокоить:

- Ну, я попробую что-нибудь сделать. Я позвоню своему начальству. Доложу. Ну, а уж как оно решит, так оно и будет. Пойдите здесь.

Он торопливо прошел в дежурку к телефону. Драуле покорно и обреченно стояла у стены.

- Дежурный ОГПУ? Это – Борисов, охрана Смольного. Дай мне Медведя. На совещании? Черт. А его зам – Запорожец? А, черт, он же в Сочи, в санатории. Кто на месте? Соединяй. Алло, тут пришла к Сергею Миронычу его бывший секретарь Драуле, говорит, что Сергей Мироныч сам просил ее приехать в Смольный. Но Кирова нет. Какие будут указания? Так. Так. Ясно. Пропустить и немедленно оповестить Сергея Мироныча. Есть!

Киров обедал за столом. Напротив сидела Мария Львовна и читала газету. Домработница убирала тарелку, когда раздался звонок.

Домработница подошла к телефону. А затем рукой махнула Кирову. Тот, вытирая губы, вышел из кухни и взял трубку.

- Киров.

- Товарищ Киров. Это сотрудник ОГПУ охраны Смольного Борисов. – доложились ему.

- Ну, знаю тебя, Борисов, что ты так долго регалии мне свои пересчитываешь, - хмыкнул Киров. - Короче надо – Борисов из Смольного. Что там у тебя?

- Виноват, товарищ Киров. Дело такое. К вам пришла ваша бывшая секретарша, уверяет, что вы ее сами вызвали...

Киров прижал трубку прямо к уху:

- Не ори так, Борисов, я хорошо слышу. Где она?

- Да тут. Пропуска у нее нету. Как быть – не знаю. Я своему начальству позвонил, они разрешили ее пропустить к вам, но вас предупредить.

- Так, отведи ко мне. Пусть ждет. В кабинете. Я скоро буду. Все понял, Борисов? Ну, молодец. Бывай.

Киров положил трубку и вернулся на кухню. Мария Львовна обеспокоено заметила как он, спешно вилок ткнув в кусок мяса, на ходу стал его жевать и собираться.

- Кто звонил?

Он замялся.

- Из Смольного. Срочная встреча.

- Так ты же собирался в Таврический, - удивилась Мария Львовна.

- Там ненадолго, он надел шапку. - А Таврический рядом, чего там – не опоздаю.

Мария Львовна приподнялась:

- Сережа, что произошло?

Он отмахнулся, как то-поспешно:

- Да все нормально. Чего ты? Отдыхай. Обычное дело. Что меня первый раз от стола вызванивают, что ли?

Мария Львовна взялась за грудь. Морщины прорезали ее лоб:

- Мне сердце вещует, что-то тут не так. У тебя актив. Все знают, кто бы стал тебя звать в Смольный? Сережа, не езжай туда. У меня почему-то нехорошее предчувствие.

Киров уже был в сапогах и полушубке. Он весело ответил:

- Ты что, Маша? Какие еще предчувствия? – он погрозил ей лукаво пальцем. - Не будь ты атеисткой, сказал бы – перекрестись и сплюнь. Ладно, мне пора. Жди к ужину. Да приготовьте мне что-нибудь позаковыристее, может, приеду с Чудовым и Ждановым. Ну, пока...

Нежданный звонок, известие, что она, Мильда, его, ошарашило его, словно его из надоевшей парной да прямо в холодную ласковую воду. Он вдруг почувствовал, что то, чего так не хватало в его жизни, вдруг произошло, и он проснулся, и увидел, как все кругом замечательно.

Она пришла, она не забыла его. Сама пришла. Не побоялась. Ишь, придумала, что он ее вызвал! Сметливая баба...

Мария Львовна тяжело прошла по комнатам и опустилась на диван.

- Все ложь... Я знаю, кто там его вызвал в Смольный. Сережа, Сережа, как ты можешь... Ничем хорошим это не кончится... - шептала она, но ее никто не слышал. Домработница мыла на кухне посуду и напевала что-то комсомольское.

Быстро с резким поворотом к Смольному подъехала машина Кирова. Притормозив, она проехала дальше, застыв у угла.

Киров резво выпрыгнул из машины и пошел куда-то за вязанки дров.

Он подошел к служебному ходу, открыл дверь своим ключом и быстро помчался вверх, забыв ее запереть.

Площадь перед Смольным пересек человек в надвинутой на голову заячьей зимней шапке. Он горбился. Шел неуверенно, рывками. Из-под шапки виднелись его воспаленные глаза. Он исступленно шептал:

- Я избран. Я – Отелло, Я – Гамлет. Я – поруганная честь и мщение. Я – герой страны. Я – меч справедливости. Я – корчующий зло. Так надо для Советской власти. Пусть она знает. Пусть она видит. На ее глазах... Она поймет... Но – поздно...

Он видел подъехавшую машину, выпрыгнувшую фигуру, направившуюся к боковой двери. И сам пошел туда же.

Киров в сопровождении Борисова шел по коридору к своему кабинету. Дойдя до угла, он попросил его оставить его одного.

Борисов не успел отойти и проверить – как там запасной служебный ход по черной лестнице.

Его неожиданно задержал с просьбой закурить охранник Дурейко.

- Слышь, Борисов, тормозни. Дай закурить.

Борисов поневоле замедлился, наблюдая взглядом уходящего по коридору Кирова.

Дурейко, не спеша, с третьей спички прикурил, затянулся и взял Борисова за плечо:

- Слышь, Борисов. Анекдотец мне тут шибанули про буржуев. Захохочешься. Слушай. Значит, их этот чертов Чемберлен...

Киров вошел в кабинет.

Мария Львовна, сидя на диване, вдруг уронила на пол стакан с чаем. Он разбился вдребезги.

Киров не вошел, а как-то ворвался в кабинет и застыл.

Мильда стояла, облокотившись на стол, в расстегнутом пальто. В ее лице, фигуре, подавшейся ему навстречу читалось – я забыла обо всем, я забыла о детях, я забыла о семье, о муже, я забыла о своей чести, я помню лишь тебя. Во всем ее облике была – жертва.

Киров медлил секунду. Его глаза вспыхнули тепло и ярко.

Он обнял ее крепко, как только мог.

Она заплакала.

Киров молча снял ее пальто, и увидел, что Мильда только в легком платье, второпях она даже не оделась, как следует.

- Вот торопилась, даже не оделась. Прости... - прошептала она.

- Ну что ты, Мильда. Ну что ты... - смущенно пробормотал он.

Она заметила его смущение Кирова, рывком сорвала платье и предстала перед ним обнаженной.

- Я твоя - телом и душой. Делай со мной, что хочешь, мой победитель. Мне нет больше жизни без тебя...

Николаев тенью прошел по коридору Смольного.

В Таврический дворец уже начали собираться участники партийного актива. Всюду слышались оживление, говор, смех. Кто заходил в зал, кто беседовал друг с другом. И лишь один Чудов озабоченно смотрел на часы, и, увидев входящего Медведя, направился к нему..

Киров был не просто потрясен. Он был покорен силой любви. Драуле. Только в этот миг он понял, что любит эту женщину сильнее всего на свете. И он сделал единственное, что мог сделать, чтобы доказать ей, что он к ней чувствует.

Он становится перед ней на колени.

- Мильда, я не думал, что это еще возможно. Боже, как же я смог прожить эти полгода без тебя...

Николаев торопливо прошмыгнул за угол к кабинету Кирова.

Дурейко заметил его, но и ухом не повел, продолжая рассказывать Борисову, стоявшему спиной, анекдот.

В кабинете Кирова вдруг закружились звезды.

- Если есть человеческое счастье, то оно тут – сейчас. Я его познал. Я люблю тебя, Мильда, - сказал он последние слова в своей жизни.

Драуле тихо плакала от счастья и гладила голову склоненного Кирова.

- Я тоже – счастлива. Господи, как же я счастлива! Ради этого мгновенья – вся моя жизнь...

В кабинет всунулся Николаев.

Мильда вскрикнула и окаменела от ужаса. Она увидела ненавидящий и отрешенный, безумный и отчаянный взгляд Николаева.

Николаев выхватил пистолет. Его лицо просто искрилось ненавистью. Последний отблеск сознания схватил жуткую для него картину - обнимающего ноги его раздетой жены мужчину.

Он выстрелил в голову Кирова.

Тот, не успев повернуть головы, дернулся. Пуля прошила шинель и задела шею.

После второго выстрела Киров беззвучно упал.

Николаев навел пистолет на Драуле. Но то, что он увидел в ее глазах, вонзилось в его уже почти парализованный страхом и безумием мозг, последней молнией.

Пистолет прыгнул в его руках. Сильные конвульсии передернули его тело.

Он упал навзничь.

Борисов, услышав выстрелы, оттолкнул Дурейко и помчался к кабинету.

Кабинет не открывался, что-то мешало. Оба охранника напряглись, и дверь с трудом подалась.

Они наткнулись на распростертое тело Кирова.

Рядом лежал без сознания Николаев.

И только обнаженная женщина безмолвно стояла у стола, и оба чекиста отвели от нее взгляд. Не потому, что устыдились ее наготы, просто ее взгляд серых глаз смотрел мимо них, смотрел в вечность, и выносить этот взгляд было невмоготу.

В Москве наркома НКВД Ягоду оторвали от проведения служебного совещания срочным звонком из Ленинграда

- Слушаю, Ягода. Медведь? Соедините. Что? – он подскочил. - Киров! Убит!

В панике, трясась от ужаса, он набрал телефон Ежова...

- Товарищ Ежов, только что...

Сталин в своем кабинете был один. Он стоял у окна и набивал трубку.

Раздался звонок.

Сталин вздрогнул, огонь спички обжег ему пальцы. Он не заметил ожога.

Он прислонился головой к темному стеклу. По его щеке текла слеза.

А телефон звонил тревожно и настойчиво...

Горькая гримаса судьбы –

Убитого Кирова привезли в недавно отстроенный дом-дворец ОГПУ-НКВД на Литейном. Здесь еще не успели соорудить помещение для морга, и для этих целей служила комната на одном из этажей с установленной там ванной, в которую из Невы таскали лед.

В эту ванную положили труп Кирова в ожидании предстоящего вскрытия, пустили холодную воду и бросили туда же лед.

Спустя время, на Литейный привезли Николаева. Он по-прежнему пребывал в обморочном бреду. И был отдан приказ привести его в чувство. Для этого пригодилась та же самая ванная. Труп Кирова уже был оттуда убран. И в ванную поместили Николаева, не успев даже спустить воду.

Его швырнули в ванную, полную алой водой от крови Кирова, с кусочками алого льда, впитавшего в себя его же кровь.

Николаев умылся кровью Кирова...

Хмурым утром на Московском вокзале Ленинграда Чудов, Медведь, Жданов и другие лица встречали Сталина, Ежова, Ягоду, Ворошилова...

Сталин молча подошел к Медведю и наотмашь ладонью ударил его по лицу...

Над городом поднималось багровое солнце.

Напоследок вождь решил посмотреть на Николаева. Его провели в маленькую темную комнату.

Заросший щетиной Николаев отрешенно смотрел на вошедшего медленной сгорбленной походкой вождя, перед которым всегда благоговел. Теперь же его глаза ничего не выражали.

- Зачем? – спросил тихо Сталин.

- Я хочу есть... крылышко курочки - ответил Николаев.

Сталин поднялся и вышел.

Мутным взглядом он окинул вытянувшегося охранника.

- Накормите... этого.

И, ссутулившись, пошел прочь.

Постскриптум.

Ленинградская трагедия свершилась.

Все участники и свидетели дела Кирова были убиты или погибли странным образом в течение ближайших недель после убийства Кирова.

Мильда Драуле – арестована в начале 1935 года. В этом же году осуждена за соучастие в заговоре с целью убийства Кирова и расстреляна. Реабилитирована в 1990 году.

Леонид Васильевич Николаев – убит через несколько дней после совершения убийства С.М. Кирова при странных обстоятельствах.

Знакомые Николаева в количестве 13 человек, а также сестра Мильды Драуле Ольга – расстреляны вместе с мужем в декабре 1934 года

Медведь Филипп Демьянович - После убийства Кирова отстранен от должности и вызван в Москву, а через некоторое время арестован. Обвинен в преступной халатности и приговорен к 3 годам исправительно-трудовых работ. Отправлен на Колыму и назначен нач. Южного горно-промышленного управления Дальстроя. После прихода в НКВД Ежова мае 1937 начато новое следствие по делу Медведя. Медведь вновь арестован. Расстрелян "в особом порядке".

Запорожец Иван Васильевич во время убийства Кирова отсутствовал в Ленинграде. После убийства Кирова отстранен от должности, а затем арестован. Приговорен к небольшому сроку заключения и вскоре назначен на руководящую должность в системе ГУЛАГа. После прихода в НКВД Ежова по делу Запорожца возбуждено новое следствие. Он был приговорен к смертной казни и расстрелян.

Чудов Михаил Семенович - арестован и расстрелян в 1937 г.

Ягода Генрих Григорьевич – нарком НКВД. В 1937 году расстрелян, в том числе и по обвинению за соучастие в убийстве Кирова.

Ежов Николай Иванович - нарком внутренних дел СССР в 1936-1938 гг., нарком водного транспорта в 1938-1939 гг. Был одним из главных организаторов и исполнителей массовых репрессий. В 1939 г. арестован, расстрелян в 1940 году.

Маркус Мария Львовна – умерла в 1945 году

Маркс Леонидович Николаев – после ареста матери в начале 1935 года направлен в 44 детский дом Выборгского района Ленинграда. Признан жертвой политических репрессий.

Леонид Леонидович Николаев - о его судьбе автору этой книги ничего не известно.

Только в Ленинграде в ходе расследования убийства Кирова было расстреляно 46 тысяч человек.

Десятки тысяч людей были лишены гражданских прав и выселены из Ленинграда.

Отныне начиналась трагедия страны...

Кровавая эпоха начала свой массовый отсчет.